

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Дневник провинциала в Петербурге



Книги очерков

Михаил Салтыков-Щедрин

**Дневник провинциала
в Петербурге**

«Public Domain»

1873

Салтыков-Щедрин М. Е.

Дневник провинциала в Петербурге / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1873 — (Книги очерков)

В романе-хронике «Дневник провинциала» фантасмагорические картины «водевильно-распутной жизни» Петербурга, его чиновной и журналистской братии, либеральствующей «по возможности» и стремительно развивающейся к «чего изволите», создают «трезвую картину» пореформенной эпохи.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

68

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

Дневник провинциала в Петербурге

I

Я в Петербурге.

Зачем я в Петербурге? по какому случаю? – этого вопроса, по врожденной провинциалам неосмотрительности, я ни разу не задал себе, покидая наш постылый губернский город. Мы, провинциалы, устремляемся в Петербург как-то инстинктивно. Сидим-сидим – и вдруг тронемся. Губернатор сидит и вдруг надумается: толкнусь, мол, нет ли чего подходящего! Прокурор сидит – и тоже надумается: толкнусь-ка, нет ли чего подходящего! Партикулярный человек сидит – и вдруг, словно озаренный, начинает укладываться... «Вы в Петербург едете?» – «В Петербург!» – этим все сказано. Как будто Петербург сам собою, одним своим именем, своими улицами, туманом и слякотью должен что-то разрешить, на что-то пролить свет. Что разрешить? на что пролить свет? этого ни один провинциал никогда не пробует себе уяснить, а просто-напросто, с бессознательною уверенностью твердит себе: вот уж, съезжу в Петербург, и тогда... Что тогда?

Как бы то ни было, вопрос: зачем я еду в Петербург? возник для меня совершенно неожиданно, возник спустя несколько минут после того, как я уселся в вагоне Николаевской железной дороги.

В этом вагоне сидела губерния, сидело все то, от чего я бежал, от лицемерия чего стремился отдохнуть. Тут были: и Петр Иванович, и Третий Семеныч, и сам представитель «высшего в империи сословия», Александр Прокофьевич (он же «Прокоп Ляпунов») с супругой, на лице которой читается только одна мысль: «Alexandre! у тебя опять галстук набок съехал!» Это была ужаснейшая для меня минута. Все они были налицо с своими жирными затылками, с своими клинообразными кадыками, в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком. Все притворялись, что у них есть нечто в кармане, и ни один даже не пытался притвориться, что у него есть нечто в голове. По-видимому, это последнее обстоятельство для них самих составляло дело решенное, потому что смотреть на мир такими осовелыми глазами, какими смотрели они, могут только люди или совершенно эманципированные от давления мысли, или люди совсем наглые. А так как моих спутников нельзя же назвать вполне наглыми людьми, то очевидно, что они принадлежат к числу вполне свободных. На меня эти красные околыши произвели какое-то болезненное впечатление. Мне показалось, что я опять в нашем рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовском клубе, окруженный сеятелями, деятелями и всех сортов шлющимами и не помнящими родства людьми...

Разумеется, обрадовались. Но в этих приветственных возгласах мне слышалось что-то обидное. Как будто, приветствуя меня, они в один голос говорили: а вот и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встреча до такой степени уязвила меня, что я никогда так отчетливо, как в эту минуту, не сознавал, что ведь я и сам такой же шлющийся и не знающий, куда приткнуть голову, человек, как и они? Кайданов удостоверяет, что древние авгуры не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом. Быть может, на первых порах, оно так и было; но впоследствии, когда интерес новизны исчез, эти встречи должны были возбуждать не смех, а взаимное озлобление. Скажите, можно ли без злобы ежеминутно встречаться с человеком, которого видишь насквозь, со всем его нутром! Помилуйте! да от этого человека за тридевять земель бежать надобно, а не то что улыбаться ему!

Легко сказать, бежать! Вы бежите – а он за вами! Он, этот земский авгур, населяет теперь все вагоны, все гостиницы! Он ораторствует в клубах и ресторанах! он проникает в педагоги-

ческие, экономические, сельскохозяйственные и иные собрания и даже защищает там какие-то рефераты. Он желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова, он смотрит Патти, Паску, Лукку, Шнейдер. Словом, он везде. Это какой-то неутомимый дух, от вездесущия которого не упасть нигде...

По обыкновению, как только разместились в вагонах, так тотчас же начался обмен мыслей.

– В Петербург? – спрашивает Прокоп Петра Ивановича.

– В Петербург.

– Зачем, смею спросить?

– Да так... насчет концессии одной... А вы?

– Я, признаться, тоже... от земства... А вы, Третий Семеныч?

– Да я... как бы вам сказать... ведь и я тоже насчет концессии!

Наконец вопрос обращается и ко мне:

– В Петербург-с?

Тут-то вот именно и представился мне вопрос: зачем я, в самом деле, еду в Петербург? и каким образом сделалось, что я, убегая из губернии и находясь несомненно за пределами ее, в вагоне, все-таки очутился в самом сердце оной? И мне сделалось так совестно и конфузно, что я совершенно неосновательно ответил Прокопу:

– Да там... тоже маленькая концессия...

Тогда начались проекты самых фантастических концессий. Из Пензы в Наровчат, захватив на дороге Мокшан и Инсар; из Рязани в Михайлов, а там в Каширу, в Алексин, в Белен, в Медынь и т. д. Слышались фразы: вот бы! вот кабы! ну, уж тогда бы! и проч. Но меня так всецело поглотила мысль, зачем я-то, собственно, собрался в Петербург, – я, который не имел в виду ни получить концессию, ни защитить педагогический или сельскохозяйственный реферат, – что даже не заметил, как мы проехали Тверь, Бологово, Любань. С этою же мыслью я очутился утром на дебаркадере Николаевской железной дороги.

Но здесь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что все мы, то есть вся губерния, останавливаемся в Grand Hotel... Уклониться от совместного жительства не было возможности. Еще в Колпине начались возгласы: «Да остановимтесь, господа, все вместе!», «Вместе, господа, веселее!», «Стыдно землякам в разных местах останавливаться!» и т. д. Нужно было иметь твердость Муция Сцеволы, чтобы устоять против таких зазываний. Разумеется, я не устоял.

Но за то и наказана же была моя душевная рыхлость!

Вот буквально те впечатления, которые в течение первых двух недель я испытывал в Петербурге изо дня в день.

Каждое утро, куда я потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются в дверь моего номера. Раньше всех стучит Прокоп.

– Ну, что! как концессия? заполучили? – обращается он ко мне своим обычным лающим голосом.

– Нет еще... да и не знаю...

– Тут, батюшка, зевать некогда! Как раз из-под носа стибрят!

Через полчаса опять стук: стучит Третий Семеныч.

– Ну, что! заполучили?

– Не знаю, как бы сказать...

– Что ж вы мямлите-то! что мямлите! ведь этак как раз из-под носа утащат!

Проходит четверть часа: стук, стук! Идет мимо Петр Иванович.

– Что! как концессия?

Мне делается уже весело. Я сам начинаю верить, что приехал за концессией и что есть какая-то линия между Сапожком и Касимовым, которую мне совершенно необходимо заполнить.

– Да что, батюшка! – говорю я, – эта концессия... шут ее знает!

– Что вы зеваете-то! что зеваете! Прокоп вот все передние уж объездил, а вы! Хотите, я вам скажу одну вещь!

– Ах! сделайте милость!

– Там полковник один есть... Просто даже и ведомства-то совсем не того, отставной... Так вот покуда мы стоим этак в приемной, проходит мимо нас этот полковник прямо в кабинет... Потом, через четверть часа, опять этот полковник из кабинета проходит и только глазом мигнет!

– Ну, и что ж?

– Ну, тут его и лови!

Затем «губерния» часа на два, на три исчезает. Но не успел я одеться (бьет два часа), как опять стук в дверь! Влетает Прокоп.

– Разве так делают дела? – накидывается он на меня. – Вы вот потягиваетесь тут, а я уж во всех трех министерствах был!

– Александр Прокофьевич! Неужто?

– Да-с, был-с. Только уж и ходьба!

– А что?

– Да вот, посчитайте-ка сами ступеньки от первого этажа до четвертого, тогда увидите!

– А результат?

– Да как сказать? – покуда еще никакого! Ведь здесь, батюшка, не губерния! чтобы слово-то ему сказать, чтобы глазком-то его увидеть, надо с месяц места побегать! Здесь ведь все дела делаются так!

– Однако, это неприятно!

– А вам все чтоб было «приятно»! Вам бы вот чтоб Фаддей и носки вам на ноги надел, и сапоги бы натянул, а из этого чтоб концессия вышла! Нет, сударь, приятности-то эти тогда пойдут, когда вот линейку заполучим, а теперь не до приятностей! Здесь, батюшка, и все так живут!

Прокоп подходит к окну, видит бегущего по улице мазурика, и воображение рисует перед ним целую картину.

– Смотрите! – восклицает он, – вон он высуня язык бежит! Вы думаете, он дело делает! Пустяки, сударь! пустяки он делает! День-то деньской он пробегает, вечером прибежит домой: что я сделал? – Иной даже заплачет! Ничего, ну просто-напросто ничего! А там пройдет и еще день, и еще, и еще... И все-то так! и всякий-то день ничего! А через месяц, смотришь, что-нибудь у него и сформируется! Как сформируется? почему сформируется? – ничего не известно! Там бросил словечко, там глазком глянул, туда забежал, там с швейцаром покалякал – на вид оно пустяки, ан смотришь, в результате оно самое и есть!

Снова стук. Петр Иванович влетает прямо в соболях. Щеки у него горят, кадык застыл от мороза, усы влажны.

– Ну, кажется, идет дело на лад! – говорит он весело.

– Решена? – спрашивает Прокоп, и в глазах его появляется какой-то блудящий огонь, которого я прежде не примечал.

– Решена!

– Ну, а моя еще нет!

– Теперь только бы в самую середку-то угодить!

– Да, это тоже штука. Одно средство: к тузу какому-нибудь примазаться! Уж черт его душу дери... ешь половину!

Еще стук. Влетает Третий Семеныч и падает в изнеможении в кресло. Устал, – говорит он, – был везде! И у Бубновина был, и у Мерзавского был, и у сына Сирахова был!

– Ну, и что же!

– Все в один голос: полезнейшее предприятие!

– Смотри, как бы тебя с «полезнейшим-то предприятием» не продернули! ведь это тоже народ теплый!

– Меня-то! у меня линия верная! От Корочи через Тим, Щигры да так-таки прямо в Ливны. А там у меня кстати и имение есть.

– Да ты что возить-то по этой линии будешь? – Уж это наше дело!

– Нет, ты скажи!

– А позвольте узнать, Александр Прокофьевич, что вы-то по вашей линии возить будете?

– Это от Изюма-то, через Купянку, Валуйки да в Острогожск! Да тут, батюшка, хлеба одного столько, что ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скот, кожи! Да ты пойми: ведь в Изюме-то окружный суд! Члены суда будут ездить! судебные следователи! судебные пристава! Твое же острогожское имение описывать поедут!

Между тем Петр Иванович беспокойно поглядывает на часы и вдруг вскакивает:

– Однако пора бежать!

И все трое, обращаясь ко мне, разом восклицают:

– Вы разве не пойдете устрицы есть?

– Не знаю... Я как-то еще не думал об этом.

– Ну, каким же образом после того вы концессию получить хотите! Где же вы с настоящими дельцами встретитесь, как не у Елисеева или у Эрбера? Ведь там все! Всех там увидите!

– Да ведь я... право, и дорога-то у меня плохая, кажется! Ну, что я, в самом деле, возить по ней буду!

– А вам-то что? Это что еще за тандрессы такие! Вон Петр Иванович снеток белозерский хочет возить... а сооружения-то, батюшка, затевает какие! Через Чегодошу мост в две версты – раз; через Тихвинку мост в три версты (тут грузы захватит) – два! Через Волхов мост – три! По горам, по долам, по болотам, по лесам! В болотах морошку захватит, в лесу – рябчика! Зато в Питере настоящий снеток будет! Не псковский какой-нибудь, я настоящий белозерский! Вкус-то в нем какой – ха! ха!

– Смейтесь! смейтесь! а вот как заполучу дорожку, тогда будет... хи! хи!

– Мы, батюшка, нынче всю эту статистику дотла разузнали! Где что родится, где какое производство идет! Где мамура-ягода, где княженика-ягода! Где сырть-рыба, где сельдь, где снеток! Где мыло варят, где кожи дубят! Разносчик кричит: сельди переславские! – а мы примечаем!

Делать нечего, отправляемся вчетвером на биржу к Елисееву.

Устричная зала полна. Губерния преобладает. Кадыки, кадыки, кадыки; затылки, затылки, затылки. На столах валяются фуражки с красными околышами и кокардами. Там и сям мелькают какие-то оливковые личности, не то греки, не то евреи, не то армяне, словом, какие-то иконописные люди, которым удалось сбегать с кипарисной деки и отгуляться на воле у Дюссо и у Бореля. Они жирны, словно скот, откормленный бардою. Личности эти составляют центры, около которых образуются группы кадыков. Но самый главный центр представляет какой-то необыкновенно жирный и, по-видимому, не очень умный человек, который сидит на диване у средней стены и на груди у которого отдыхает тяжелая золотая цепь, обремененная драгоценными железнодорожными жетонами. Он уж поел и, сложа на груди руки и замурив глаза, предается пищеварению. По временам пройдет мимо него кадык, скажет: Анемподисту Тимофеичу! тогда он отделит от туловища одну из рук и вложит ее в протянутую руку кадыка. Хотя этот человек сидит за своим столом одиноко, но что не кто другой, а именно он составляет настоящий центр компании – в этом нельзя усомниться. Кадыки, очевидно, ни на минуту

не теряют его из вида. Они и сидят за своими столами как-то не прямо, а вполоборота к нему, и говорят друг с другом, словно не друг с другом, а обращаясь к третьему лицу, которое нельзя беспокоить прямо, но без мнения которого обойтись невозможно.

Проходя мимо него, Прокоп толкает меня в бок и шепчет каким-то испуганным голосом: – Бубновин!

В зале сыро, налякотно, накурено. Словно туман стоит. Но кадыки не гогочут, по своему обычаю, а как-то сдержанно беседуют, словно заискивают.

– Аристиду Фемистоклычу! – восклицает Прокоп, расцветая при виде одного из византийских изображений, которого наружность напоминает паука, только что проглотившего муху, – как поживаете? каково прижимаете?

– Ницево! зивем!

– Девочки как?

– И девочки!.. у нас девочек завсегда бывает очень достаточно!

– Ну, и слава богу!

Мы садимся за особый стол; приносят громадное блюдо, усеянное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже прозревают в будущем и усматривают там потребность в новом таком же блюде.

– Вели еще десятка четыре вскрыть! – командует он, – да надо бы и насчет вина распорядиться... Аристид Фемистоклыч! вы какое вино при устрицах потребляете?

– Сабли... а впрочем, я могу всякое!

– Ну, и нам подавай сабли, а потом и до «всякого» доберемся!

Начинается истребление устриц под гвалт общего говора.

– Я вам докладываю: простой армейский штабс-капитан был! – ораторствует какой-то «кадык», – в нашем городе в квартальные просился – не дали.

– А теперь третью дорогу строит! – отзывается другой «кадык», – вот оно что значит ум-то!

– Да; если человек с умом... это точно!.. – замечает Аристид Фемистоклыч.

Он пропустил уж полсотни устриц и развалился на диване, попыхивая какую-то неслышанной красоты сигару.

– Товарищами были! в одно время в полку служили! – повествует в другом углу третий «кадык», – вчерась встречаемся на Невском: Ты что? говорит. Так и так, говорю, дорожку бы заполучить! Приходи, говорит!

Я вглядываюсь в говорящего и вижу, что он лжет. Быть может, он и от природы не может не лгать, но в эту минуту к его хвастовству, видимо, примешивается расчет, что оно подействует на Бубновина. Последний, однако ж, поддается туго: он окончательно зажмурил глаза, даже слегка похрапывает.

– А какая доброта-то! – продолжает хвастаться кадык, – так-таки просто и говорит: приезжай, говорит, я тебя с женой познакомлю, а потом и об дорожке потолкуем! Я, говорит, знаю, что твое дело верное!

Бубновин продолжает похрапывать.

– Шнейдершу бы вот попросить, чтобы словечко замолвила! – вдруг предлагает кто-то.

Бубновин открывает один глаз, как будто хочет сказать: насилу хоть что-нибудь путное молвили! Но предложению не дается дальнейшего развития, потому что оно, как и все другие восклицания, вроде: вот бы! тогда бы! явилось точно так же случайно, как те мухи, которые неизвестно откуда берутся, прилетают и потом опять неизвестно куда исчезают.

Съедаются первые четыре десятка устриц, потом съедаются еще четыре десятка устриц, в промежутках съедаются два фунта свежей икры, фунт сыру, фунт семги. Выпивается по бутылке сабли на брата, потом по бутылке шампанского; в промежутках пробуются разные сорта водок. Дым синими волнами ходит по комнате, так что, несмотря на зажженный

газ, почти ничего не видно. И чем больше выпивается, тем гуще делается шум. Приходят новые деятели; слышатся вопросы: «решена?», «аудиенции-то добился ли, по крайней мере?» и ответы: «а черт их разберет!», «семь дней хожу, и дальше передней ни-ни!» В пять часов мы выходим наконец на воздух.

– Где же дельцы-то? – спрашиваю я у Прокопа.

– А Бубновин!

– Да ведь вы с ним даже не говорили!

– Какой вы, батюшка, однако ж, чудной! разве такого человека можно сразу! Его надобно еще приучить к себе, чтобы он, значит, к физиономии-то сначала присмотрелся! Раз скажешь ему: Анемподисту Тимофеичу! в другой: Анемподисту Тимофеичу! – ну, он и прислушивается помаленьку. Успел ты ему понравиться – дело в шляпе! Не успел – домой поезжай! и проедаться тут нечего! Вот этот барин, что про Шнейдершу-то давеча молвил, – вы видели, как он на него посмотрел! Да барин-то плох! Другой бы на его месте так бы этой Шнейдершей Бубновина раззудил, что завтра и по рукам бы хлопнули!

– За чем же дело? воспользуйтесь!

– Я, батюшка, и то уж подумываю! Кончено дело! завтра же чем свет – к Бубновину! Я ему этот прожектец во всех статьях разверну!

Я возвращаюсь в свой номер усталый, ошеломленный, полупьяный, нераздетый бросаюсь в постель и засыпаю тяжелым сном. Во сне мне видится железная дорога от Петербурга до самого устья Печоры. Локомотив, пыхтя и свистя, несется в необозримую даль; болотные трясины содрогаются, леса оглашаются бесконечным эхом, испуганные звери и птицы скрываются куда-то далеко, в непроглядный мрак. На поезде сидит жандарм и какой-то партикулярный молодой человек. И мчатся эти люди день и ночь, худо спят, наскоро закусывают, бегут, спешат, как будто и невесть какие приятства ожидают их на устье Печоры. А с устья Печоры, в свою очередь, тоже мчится поезд, и несется на нем господин Латкин с свежю печорскою семгою и кедровой шишкой в руках, как доказательство крайней необходимости дороги в этот кишачий естественными богатствами край. И вдруг в Усть-Сыольске ужасное столкновение... Раздается треск, гром; я в ужасе мечусь на постеле и наконец вскакиваю.

В комнате темно; в дверь моего номера действительно кто-то сильнейшим образом стучит.

Отпираю; влетает Прокоп.

– Спите, батюшка, спите! – говорит он мне укоризненно, – а я, покуда вы тут спите, у Дюссо с таким человечком знакомство свел!

– С каким еще человечком? – спрашиваю я, насилу продирая глаза.

– Да уж с таким человечком, что, ежели через неделю мое дело не будет слажено и покончено, назовите меня в глаза подлецом!

Не успеваю я ответить, как влетают разом Третий Семеныч и Петр Иваныч.

– Ну, батюшка, слава богу! кажется, мое дело в шляпе! – говорит Третий Семеныч.

– И меня, я полагаю, через недельку поздравить будет можно! перебивает его Петр Иваныч.

– Ну, а теперь пора и отдохнуть! – возглашает Прокоп, – да что, впрочем, не выпить ли на ночь прощеную!

Но я решительно отказываюсь, и гости, после долгих упрашиваний, расходятся наконец по номерам.

Я остаюсь один (бьет уж два часа) и вновь ложусь спать.

Таким образом продолжается пятнадцать дней. Кроме своего номера и устричной залы Елисеева, я ничего не вижу. Я ни разу даже не пообедал как следует. Кроме устриц, икры, семги – ничего. Горячего ни-ни! Наконец, я чувствую, что ежели это времяпрепровождение продолжится, то я сделаюсь пьяницей. Каждый день, по малой мере, три бутылки вина, не

считая водки! И это, так сказать, натошак. Перестаю наконец понимать, кто я и где я. В одно прекрасное утро просыпаюсь и ничего, положительно ничего не понимаю. Что? как? зачем? Наконец, когда уж мне вылили на голову целое ведро холодной воды (я помню, я все кричал: лей! лей!) – только тогда я понял, что я – я. Подбежал к зеркалу, смотрю – глаза налитые, совсем круглые. Значит, дошел до точки.

Нет, надо бежать. Но как же уехать из Петербурга, не видав ничего, кроме номера гостиницы и устричной залы Елисеева? Ведь есть, вероятно, что-нибудь и поинтереснее. Есть умственное движение, есть публицистика, литература, искусство, жизнь. Наконец, найдутся старые знакомые, товарищи, которых хотелось бы повидать...

Конечно. Я предпринимаю героическое решение. В одно прекрасное утро, покуда «губерния» шнырит по разным концам города, я уплачиваю мой счет в Grand Hotel и тайком перебираюсь в скромные *chambres garnies*,¹ на Гороховой.

* * *

Прежде всего я отправляюсь в воронинские бани, где парюсь до тех пор, покамест не сознаю себя вполне трезвым. Затем приступаю вновь к практическому разрешению вопроса: зачем я приехал в Петербург?

Сознаюсь откровенно: из всех названных выше соблазнов (умственное движение, публицистика, литература, искусство, жизнь) меня всего более привлекает последний, то есть «жизнь». Мы, провинциалы, – да впрочем одни ли мы? – имеем о «жизни» представление несколько двойственное. Хазовый конец этого представления составляют интересы умственные и общественные, действительной же его сущности отвечает все то, что льстит интересам личным и непосредственным, то есть вкусу и чувственности. На этот конец у нас и слово такое выдуманно: жуировать. А жуировать совсем не значит ходить в публичную библиотеку, посещать лекции профессора Сеченова, защищать в педагогических и иных собраниях рефераты и проч., а просто, в переводе на французский язык, означает: *buvons, chantons, dansons et aimons!*² Поэтому, если мы встречаем человека, который, говоря о жизни, драпируется в мантию научных, умственных и общественных интересов и уверяет, что никогда не бывает так счастлив и не живет такую полную жизнью, как исследуя вопрос о пришествии варягов или о месте погребения князя Пожарского, то можно сказать наверное, что этот человек или преднамеренно, или бессознательно скрывает свои настоящие чувства. Говорит он о пользе классического образования, а на уме у него: *buvons, chantons, dansons et aimons!* Говорит о податной реформе, а на уме: *buvons, chantons, dansons et aimons!* Все эти вопросы, системы, нововведения и проч. представляют лишь неизбежную, но сухую и горькую приправу жизни. Без них нельзя обойтись, потому что они дают одним – прекраснейшие должности с прекраснейшим содержанием; другим, не нуждающимся в содержаниях, прекраснейшие общественные положения. Но конечный результат всех этих содержаний и положений все-таки резюмируется так: *buvons, chantons, dansons et aimons*. Никакое полезное предприятие немыслимо, если оно, время от времени, не освежается обедом с шампанским и устрицами. Тупа грамматика, косноязычна риторика, если их не оплодотворяет струя редерера. Даже археолог, защищая реферат о «Ярославле-сребре» – и тот думает: вот уж выпьем из той самой урны, в которой хранился прах Овидия! Вот где настоящая русская подоплека, а совсем не там, где бесплодно ищут ее глаголемые славянофилы. Москва поняла это в совершенстве; оттого-то в ней и едят, так сказать, походя.

Следуя общему примеру, и я отправился на поиски «жизни» и с этою целью посетил товарищей моих по школе.

¹ меблированные комнаты.

² будем пить, петь, танцевать и любить!

Прихожу к одному – статский советник!!

– Статский советник! – восклицаю я, – поздравляю, поздравляю!

А сам между тем чувствую, что в голосе у меня что-то оборвалось, а внутри как будто закипает. Я добрый и даже рыхлый малый, но когда подумаю, что не выйди я титулярным советником в отставку, то мог бы... мог бы... Ах, черт побери да и совсем!

– Да, душа моя, – с невозмутимой важностью отвечает мой бывший товарищ, – не могу пожаловаться, начальство ценит-таки труды мои!

«Труды твои! шиш твои труды – вот что!» – со злобою помышляю я, но вслух говорю следующее:

– Ну, а дальше... есть виды?

– Насчет видов – это покамест еще секрет. Но, конечно, с божьей помощью...

Сказав это, он устремил такой пронзительный взгляд в даль, что я сразу понял, что сей человек ни перед какими видами несостоятельным себя не окажет.

– Ну, а в настоящем как?

– А в настоящем... жуируем! Гандон, Ловато, Шнейдер... да ты Шнейдер-то видел?

– Нет еще... я так недавно в Петербурге...

– Ты не видал Шнейдер! чудак! Чего же ты ждешь! Желал бы я знать, зачем ты приехал! Boulotte... да ведь это перл! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... sapristi!³ И он не видел!

В, эту минуту в комнату входит другой товарищ, еще только коллежский советник.

– Смельский! ужасайся! он не видал Шнейдер!

– Ты не видал Шнейдер!

– Он не слышал «Dites-lui»!⁴

– Eh Boulotte donc! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... cette fille! Barbare... va!⁵

Я слушаю и краснею. В самом деле, что делал я в течение целых двух недель? Я беседовал с Прокопом, я наслаждался лицезрением иконописного Аристида Фемистоклыча – и чего не видел! не видел Шнейдер!

– Ради бога... нельзя ли! – лепечу я в смущении.

– Ah, mon cher, c'est grave! C'est tres grave, ce que tu nous demande-la.⁶ Однако вот что. У нас ложа на все пятнадцать представлений, и хотя нас четверо, но для тебя, pour te desinfecter de ta chere ville natale...⁷ мы потеснимся. Но помни: только для тебя! А теперь, messieurs, обедать, но за обедом, чур, много вина не пить! Помните, что сегодня идет «Barbe bleue»,⁸ а чтоб эту пьесу просмаковать, нужно, чтоб голова была светла да и светла!

И точно, за обедом мы пьем сравнительно довольно мало, так что, когда я, руководясь бывшими примерами, налил себе перед закуской большую (железнодорожную) рюмку водки, то на меня оглянулись с некоторым беспокойством. Затем: по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека – и только.

На свежую голову Шнейдер действует изумительно. Она производит то, что должна была бы произвести вторая бутылка шампанского. Влетая на сцену, через какое-нибудь мгновение она уж поднимает ногу... так поднимает! ну, так поднимает!

– Adorable!⁹ – шепчет мой друг статский советник.

³ Как она чешет себе бедра и ноги... черт побери!

⁴ «Скажите ему»!

⁵ Ах, черт побери! Как эта девушка чешет себе бедра и ноги... Варвар!

⁶ Дорогой мой, это дело нешуточное. Нешуточное дело то, о чем ты у нас просишь.

⁷ Чтобы тебя дезинфицировать от запаха твоего милого родного города.

⁸ «Синяя борода».

⁹ Восхитительно!

– И заметь, что у нас она в сто крат скромнее играет, нежели в Париже! – комментирует другой мой друг, коллежский советник.

И вдруг она начинает петь. Но это не пение, а какой-то опьяняющий, звенящий хохот. Поет и в то же время чешет себя во всех местах, как это, впрочем, и следует делать наивной поселянке, которую она изображает.

– Mais comme elle se gratte! comme elle se gratte!.. parlezmoi de ca!¹⁰ захлебывается статский советник.

– Je vous demande un peu, si ce n'est pas la une grande actrice!¹¹ – вторит коллежский советник и с какою-то ненавистью озирается по сторонам, как будто вызывает дерзновенного, который осмелился бы выразить противоположное мнение.

Но зала составлена слишком хорошо; никто и не думает усомниться в гениальности т-лле Шнейдер. Во время пения все благоговейно слушают; после пения все неистово хлопают. Мы, с своей стороны, хлопаем и вызываем до тех пор, покуда зала окончательно пустеет.

После спектакля ужин (уже без воздержания), и за ужином разговор.

– Mais comme elle se gratte!

– En voila une fille!

– Et remarquez, comme elle a fait ceci...¹²

Статский советник пробует пройтись церемониальным маршем, как это делает Шнейдер, то есть вскидывая поочередно то ту, то другую ногу на плечо.

Я сам взволнован до глубины души и желаю выразить свои чувства.

– Признаюсь, господа, – говорю я, – это... это... заметили ли вы, например, какой у нее отлет?

Я изгибаюсь головой и грудью вперед, а остальной частью корпуса силюсь изобразить «отлет».

– Именно отлет! C'est le vrai mot! Otliott magnifique!¹³

– Аи да деревня! сидит, сидит в захолустье, да и выдумает!

– Messieurs! не говорите так легко об нашем захолустье! У нас там одна помпадурша есть, так у нее отлет! Je ne vous dis que ca!¹⁴

Я собираю пальцы в кучку и целую кончики.

– Ну, все-таки, против Шнейдер... – сомневается статский советник.

– Да разве я об Шнейдерше!.. Schneider! mais elle est unique!¹⁵ Шнейдер... это... это... Но я вам скажу, и помпадурша! Elle ne se gratte pas les hanches, – c'est vrai! mais si elle se les grattait!¹⁶ я не ручаюсь, что и вы... Человек! четыре бутылки шампанского!

Потом следуют еще четыре бутылки, потом еще четыре бутылки... желудок отказывается вмещать, в груди чувствуется стеснение. Я возвращаюсь домой в пять часов ночи, усталый и настолько отуманенный, что едва успеваю лечь в постель, как тотчас же засыпаю. Но я не без гордости сознаю, что сего числа я был истинно пьян не с пяти часов пополудни, а только с пяти часов пополуночи.

На другой день, к другому товарищу, – этот уже не просто статский, а действительный статский советник.

– Уж действительный статский!

¹⁰ Но как она почесывается! как почесывается!.. невозможно передать!

¹¹ Скажите, разве это не великая актриса!

¹² Но как она почесывается! Вот так девушка! – И заметьте, как она сделала вот это...

¹³ Вот именно! Отлет! Великолепно!

¹⁴ О прочем умалчиваю!

¹⁵ Но она несравненна!

¹⁶ Она, правда, не чешет себе бедер, – но если бы она их чесала!

– Да, душа моя, действительный. Благодарение богу, начальство видит мои труды и ценит их.

– Да ведь таким образом ты, пожалуй...

– И очень не мудрено. Теперь, душа моя, люди нужны, а мои правила настолько известны... *Enfin qui vivra – verra.*¹⁷

Сказавши это, он поднял ногу, как будто инстинктивно куда-то ее заносил. Потом, как бы сообразив, что серьезных разговоров со мной, провинциалом, вести не приходится, спросил меня:

– Надеюсь, что ты видел Шнейдер?

– Вчера, с старыми товарищами были.

– Это в «*Barbe bleue*»? *Delicieuse!*¹⁸ не правда ли?

– *Comme elle se gratte les hanches et les jambes!*¹⁹

– *N'est-ce pas! quelle fille! quelle diable de fille! Et en meme temps, actrice! mais une actrice... ce qui s'appelle – consommee!*²⁰

– А ты заметил, как она церемониальным маршем к венцу-то прошла!

Я пробую напомнить Шнейдершу в лицах, но при первой же попытке вскинуть ногу на плечо спотыкаюсь и падаю.

– Ну вот! ну вот! – смеется мой друг, – это хорошо, что ты так твердо запомнил, но зачем подражать неподражаемому! *En imitant l'inimitable, on finit par se casser le cou.*

– *Mais comme elle se gratte! dieu des dieux! comme elle se gratte!*

– *Ah! mais c'est encore un trait de genie... ca!*²¹ Заметь: кого она представляет? Она представляет простую, наивную поселянку! *Une villageoise! une paysanne! une fille des champs! Ergo...*

– *Mais c'est simple comme bonjour!*²²

– Вот сегодня, например, ты увидишь ее в «*Le sabre de mon pere*»²³ – здесь она не только не чешется, но даже поразит тебя своим величием! А почему? потому что этого требует роль!

– Увы! у меня нет на сегодня билета!

– Вздор! Надо, чтобы ты видел эту пьесу. Вы – люди земства, *mon cher*, и наша прямая обязанность – это стараться, чтоб вы все видели, все знали. Вот что: у нас есть ложа, и хотя мы там вчетвером, но для тебя потеснимся. Я хочу, непременно хочу, чтобы ты видел, как она поет «*Diteslui*»!²⁴ Я с намерением говорю: «чтоб ты видел», потому что это мало слышать, это именно видеть надо! А теперь идем обедать, *mais soyons sobres, mon cher! parce que c'est tres serieux, ce que tu vas voir ce soir!*²⁵

Мы обедаем впятером. Выпиваем по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека – и только.

Я не стану описывать впечатления этого чудного вечера. Она изнемогала, таяла, извивалась и так потрясала «отлетом», что товарищи мои, несмотря на то что все четверо были

¹⁷ Словом, поживем – увидим.

¹⁸ «Синей бороде»? Восхитительно!

¹⁹ Как она чешет себе бедра и ноги!

²⁰ Не правда ли? какая девушка! какая чертовская девушка! И в то же время актриса! и актриса... что называется – безупречная!

²¹ Подражая неподражаемому, кончают тем, что ломают себе шею. – Но как она почесывается! бог богов! как почесывается! – Тут опять-таки гениальная черта...

²² Поселянку! крестьянку! дочь полей! Следовательно... – Но это просто, как день!

²³ «Сабле моего отца».

²⁴ «Скажите ему».

²⁵ но будем воздержными, дорогой, ибо то, что ты увидишь вечером, дело нешуточное!

действительные статские советники, изнемогали, таяли, извивались и потрясали точно так же, как и она.

– Из театра – к Борелю.

– Ну-с, что скажете, любезный провинциал?

– Да, *messieurs*, это... Это, я вам скажу... Это... искусство!

– *C'est le mot. On cherche l'art, on se lamente sur son deperissement! Eh bien! je vous demande un peu, si ce n'est pas la personification meme de l'art! «Dites-lui» – parlez-moi de ca!*²⁶

– И заметьте, *messieurs*, какой у нее «отлет»!

– *Otliott! c'est le mot! mais il est unique, ce cher provincial!*²⁷

Как и накануне, я изогнулся головой и корпусом вперед.

– Именно! именно! *c'est ca! c'est bien ca!*²⁸ – кричали действительные статские советники, хлопая в ладоши.

Даже борелевские татары – и те смеялись.

– А теперь, господа, в благодарность за высокое наслаждение, доставленное мне вами, позвольте... человек! шесть бутылок шампанского!

Затем еще шесть бутылок, еще шесть бутылок и еще... Я вновь возвращаюсь домой в пять часов ночи, но на сей раз уже с меньшей гордостью сознаю, что хотя и не с пяти часов пополудни, но все-таки другой день сряду ложусь в постель усталый и с отягченной винными парами головой.

Таким образом проходит десять дней. Утром вставанье и потягиванье до трех часов; потом посещение старых товарищей и обед с умеренной выпивкой; потом Шнейдерша и ужин с выпивкой неумеренной. На одиннадцатый день я подхожу к зеркалу и удостоверяюсь, что глаза у меня налитые и совсем круглые. Значит, опять в самую точку попал.

«Уж не убраться ли подобра-поздорову под сень рязанско-козловско-тамбовско-воронежско-саратовского клуба?» – мелькает у меня в голове. Но мысль, что я почти месяц живу в Петербурге, и ничего не видал, кроме Елисеева, Дюссо, Бореля и Шнейдер, угрызает меня.

«Нет, думаю, попробую еще! По крайней мере, узнаю, что такое современная петербургская жизнь!»

Приняв это решение, отправляюсь в воронинские бани, где парюсь до тех пор, пока сознаю себя вполне трезвым.

Затем на целый день остаюсь дома и занимаюсь приведением в порядок желудка. И только на другой день, свежий и встрепанный, начинаю новый ряд походов.

II

Что же такое, однако, «жизнь»?

В течение более трех недель я проделал все, что, по ходячему кодексу о «жизни», надлежит проделать, чтобы иметь право сказать: я жуировал и, следовательно, жил. Я исполнил «*buvons*» – ибо ни одного дня не ложился спать трезвым; я исполнил «*chantons et dansons*» – ибо стойчески выдержал целых десять представлений «*avec le concours de m-lle Schneider*»,²⁹ наконец, я не могу сказать, чтобы не было в продолжение этого времени кое-чего и по части «*aimons*»... А в результате все-таки должен сознаться, что не только «жизни», но даже и жуировки тут не было никакой. Мало того: по окончании всего этого жизненного процесса я испы-

²⁶ Вот именно. Ищут искусства, сетуют на его упадок! Так вот я спрашиваю, разве это не само олицетворение искусства? «Скажите ему» – найдите что-нибудь подобное!

²⁷ Отлет! вот настоящее слово! наш дорогой провинциал прямо-таки неподражаем!

²⁸ так, так!

²⁹ с участием м-ль Шнейдер.

тиваю какое-то удивительно странное чувство. Мне сдается, что все это время я провел в одиночном заключении!

И действительно, это было не более как одиночное заключение, только в особенной, своеобразной форме. Провести, в продолжение двух недель, все сознательные часы в устричной зале Елисеева, среди кадыков и иконописных людей – разве это не одиночное заключение? Провести остальные десять дней в обществе действительных статских кокодессов, лицом к лицу с несомненной чепухой, в виде «*Le Sabre de mon pere*», с чепухой без начала, без конца, без середины, разве это не одиночное заключение? Ежели первый признак, по которому мы сознаем себя живущими в человеческом обществе, есть живая человеческая речь, то разве я ощущал на себе ее действие? Говоря по совести, все, что я испытывал в этом смысле, ограничивалось следующим: я безразличным образом сотрясал воздух, я внимал речам без подлежащего, без сказуемого, без связки, и сам произносил речи без подлежащего, без сказуемого, без связки. «Вот кабы», «ну, уж тогда бы» – ведь это такого рода словопрения, которые я мог бы совершенно удобно производить и в одиночном заключении. Ужели же я без натяжки могу утверждать, что меня окружало действительно людское общество, когда в моем времяпрепровождении не было даже внешних признаков общественности? Нет, это были не более как люди стеноподобные, обладающие точно такими же собеседовательными средствами, какими обладают и стены одиночного заключения. Это было не общество в действительном значении этого слова, а именно одиночное заключение, в которое, вследствие упущения начальства, ворвалось шампанское с устрицами, с пением и танцами.

А между тем кодекс, формулирующий жизнь словами: *buvons, dansons, chantons et aimons* – сочинен не нами. Он существует издревле, и целые поколения довольствовались им, не думая ни о чем другом и не желая ничего больше. От чего же он опротивел мне в двадцать четыре дня, а достославным моим предкам казался лучше всякого эдема? Отчего мои пращурсы могли всю жизнь, без всякого ущерба, предаваться культу «*buvons*», а я не могу выдержать месяца, чтобы у меня не затрещала голова, чтобы глаза мои явно не изобличили меня в нетрезвом поведении, чтобы мне самому, наконец, моя собственная персона не сделалась до некоторой степени противною? Отчего дедушка Матвей Иванович, перед которым девка Палашка каждый вечер, изо дня в день, потрясала плечами и бедрами, не только не скучал ее скудным репертуаром, но так и умер, не насладившись им досыта, а я, несмотря на то что передо мной потрясала бедрами сама Шнейдерша, в каких-нибудь десять дней ощутил такую сытость, что хоть повеситься?

Я живо помню дедушку Матвея Ивановича. Это был старик высокий, широкоплечий, бодрый, сильный, румяный. Он вставал рано, никогда не нежился и не потягивался, но сразу одевался, выливал на голову кувшин холодной воды, выпивал красоулю и отправлялся в отъездное поле. Там, в промежутках полевания, выпивалось до пропасти, и основанием выпивки всегда служил спирт. Очевидно, тут было от чего ошалеть самому крепкому организму, но старик возвращался домой не только без всяких признаков пресыщения, но с явным намерением выпить до пропасти и за обедом. После обеда он задавал выхراпку, продолжавшуюся часа три, потом выпивал «десертную», выслушивал старосту и отправлялся в зал. Там его ожидали санные девушки, с девкой Палашкой во главе, и начиналось непрерывающееся потрясение бедрами, все в одном и том же тоне, с одними и теми же прибаутками, нынче как вчера. Как страстный любитель потрясаний, дедушка, разумеется, не мог ни устоять, ни усидеть, и потому притопывал, приплясывал, жаловал по рюмке, сам выпивал по две, и проводил таким образом время до ужина. За ужином он вел пристойный разговор с гостями, если таковые наезжали, или с домашними, если гостей не было, и выпивал с таким расчетом, чтобы иметь возможность сейчас же заснуть и отнюдь не видеть никаких снов. И расчет никогда не обманывал его: он безмятежно засыпал вплоть до утра, с наступлением которого вновь повторялся вчерашний день с тою же выпивкой, с тем же отъездным полем и теми же потрясениями.

А дяденька у меня был, так у него во всякой комнате было по шкапику, и во всяком шкапике по графинчику, так что все времяпровождение его заключалось в том: в одной комнате походит и выпьет, потом в другой походит и выпьет, покуда не обойдет весь дом. И ни малейшей скуки, ни малейшего недовольства жизнью!

Десятки лет проходили в этом однообразии, и никто не замечал, что это однообразие, никто не жаловался ни на пресыщение, ни на головную боль! В баню, конечно, ходили и прежде, но не для вытрезвления, а для того, чтобы испытать, какой вкус имеет вино, когда его пьет человек совершенно нагой и окруженный целым облаком горячего пара.

Положим, что в былое время, как говорят, на Руси рождались богатыри, которым нипочем было выпить штоф водки, согнуть подкову, переломить целковый; но ведь дело не в том, что человек имел возможность совершать подобные подвиги и не лопнуть, а в том, как он мог не лопнуть от скуки?

А мне вот скучно. Я пью у Елисеева вино первый сорт, а мне кажется, что есть и еще какое-то вино, которое представляет собою уже самый первый сорт, и мне его не дают; я смотрю на Шнейдершу, а мне кажется, что есть еще какая-то обер-Шнейдерша и что вот если бы эту обер-Шнейдершу посмотреть, так это точно... Где бы я ни находился, везде меня угнетает мысль, что есть еще нечто, что необходимо бы заполучить, но в чем состоит это нечто – вот этого-то именно я формулировать и не могу. Я процветал под сению рязанско-козловско-тамбовско-саратовского клуба – и изнемогал от скуки; я наслаждался речами земских авгуров – и изнемогал от скуки; наконец, я приехал в Петербург – и опять изнемогаю от скуки. Везде чего-то недостает, как будто вся жизнь не настоящая. И вино не настоящее, и Шнейдерша не настоящая, и песни не настоящие, и любовь не настоящая, и авгуры не настоящие, и их речи не настоящие. Словом сказать, жизнь идет словно плохое театральное представление. Как будто вот наняли актеров из Александринки и сказали им: представляйте комедию. Ну, они и вьют во сне веревки за приличное вознаграждение.

Отчего дедушка Матвей Иванович мог жуировать так, что эта жуировка не приводила его к мизантропии, а я, его потомок, не могу вкусить ни от какого плода без того, чтоб этот плод тотчас же не показался мне пресным до отвращения? Оттого ли, что в развеселое жите Матвея Ивановича входил какой-нибудь особый, нам неизвестный элемент, которого теперь не существует и который даже однообразием сообщал известного рода осмысленность? Или оттого, что мы, потомки дедушки Матвея Ивановича, лучше и развитее нашего пращура, что наш кругозор несколько шире и что, вследствие этого, мы не можем удовлетворяться теми дешевыми наслаждениями, которые тешили наших предков?

Вопросы эти как-то невольно пришли мне на мысль во время моего вытрезвления от походов с действительными статскими кокодессами. А так как, впредь до окончательного приведения в порядок желудка, делать мне решительно было нечего, то они заняли меня до такой степени, что я целый вечер лежал на диване и все думал, все думал. И должен сознаться, что результаты этих дум были не особенно для меня лестны.

Элементы, которые могли оттенять внешнее однообразие жизни дедушки Матвея Ивановича, были следующие: во-первых, дворянский интерес, во-вторых, сознание властности, в-третьих, интерес сельскохозяйственный, в-четвертых, моцион. Постараюсь разъяснить здесь, какую роль играли эти элементы в том общем тоне жизни, который на принятом тогда языке назывался жуированием.

Что ни говорите о дворянском интересе, но он существовал. Содержание этого явления было несложное и фальшивое (потому-то оно и улетучилось так легко), но что самое явление имело очень реальное существование – в этом не может быть сомнения. Еще на нашей памяти дворянские собрания были шумны и многолюдны, и хотя предметом их было охранение только одного-единственного права, но это единственное право обладало такою способностью проникать и окрашивать все, что к нему ни прикасалось, что само по себе представляло, так сказать,

целый пантеон прав. Говорят, что это было дурное и вредное право, и я, конечно, не стану возражать против этого. Но я веду речь не о достоинствах права, а о том, в какой мере оно могло служить подспорьем для жизни. Дедушка Матвей Иванович недаром не пропускал ни одного собрания, недаром, периодически через каждые три года, бушевал в губернском городе. Бушевание было для него не целью, а символом. Он сознавал себя представителем своего права, и по случаю этого права предавался всякого рода необузданностям, с полной уверенностью, что они пройдут для него безнаказанно. Необузданность и безнаказанность были два понятия, которые шли рядом и взаимно друг друга оплодотворяли. Необузданность льстила грубому чувству сама по себе, а безнаказанность усложняла получаемое от необузданности удовольствие и придавала ему некоторую пикантность. Посмотрите: все люди ходят опасно и жмутся к стороне, а дедушка Матвей Иванович один во всякое время мчится вихрем по улицам, разбивает наголову полицию и бьет в трактирах посуду! Как хотите, а такое обладание монополией необузданности не могло не льстить чувству человека, не обладавшего особенно утонченным развитием...

Сами по себе взятые, такого рода удовольствия, даже в глазах очень грубых людей, не могли казаться ни особенно разнообразными, ни особенно умными. Я думаю, что непрерывное их повторение повергло бы даже дедушку в такое же уныние, как и меня, если бы тут не было подстрекающей мысли о каких-то якобы правах. Но в том-то и дело, что эта подстрекающая мысль сказывалась на каждом шагу, напоминала о себе ежеминутно. Известно, что наши предводители дворянства считали своим долгом пикироваться с губернаторами и даже, по временам, подставлять им ножки. Если б кто-нибудь взял на себя труд обстоятельно написать историю этих пикировок, вышла бы очень интересная история, из которой всякий увидел бы, что это был просто глупый обычай, по поводу которого можно только развести руками. Обе стороны лаяли в буквальном смысле этого слова, лаяли бессознательно, беспричинно, просто потому, что исстари так уж заведено. Но ведь дело не в том, глупо или умно было содержание пикировки, а в том, что вот ни один курицын сын не смеет ее производить, а я, имярек, произвожу – и горя мне мало. Конечно, и это опять-таки вносило в жизнь наших пращуров глупость сугубую, но так как это была глупость предвзятая, то она невольным образом получала все свойства убеждения. Что может быть глупее, как сдернуть скатерть с вполне сервированного стола, и, тем не менее, для человека, занимающегося подобными делами, это не просто глупость, а молодечество и даже, в некотором роде, рыцарский подвиг, в основе которого лежит убеждение: другие мимо этого самого стола пробираются боком, а я подхожу и прямо сдергиваю с него скатерть! Таким образом, натешившись вдоволь в губернии, то есть огласивши неслышанным криком собрание и неслышанным пьянством гостиницы, напикировавшись с губернатором и кинувши подачку прочим чинам, наши пращуры возвращались в свои дворянские гнезда и предавались там дворянским удовольствиям. Удовольствия эти подробно указаны выше, при описании дня дедушки Матвея Ивановича, и несложность их очевидна для всякого. Но, несмотря на эту несложность, мысль, что они дворянские, играла роль масла, питающего огонь. Человек вращался в заколдованном круге, изо дня в день, на один и тот же манер, но не падал духом и не роптал на судьбу, потому что был убежден, что вращаться таким образом его право и, в то же время, его долг. Да и одних ли пращуров наших поддерживала подобная мысль при отбывании скучного процесса жизни? Подите дальше, припомните всевозможные приемы, церемонии и приседания, которыми кишит мир, и вы убедитесь, что причина, вследствие которой они так упорно поддерживаются, не делаясь постылыми для самих участвующих в них, заключается именно в том, что в основе их непременно лежит хоть подобие какого-то представления о праве и долге.

К тому же наши пращуры в упомянутом выше своем праве видели твердыню, и видели ее не без основания. Дедушка Матвей Иванович понимал очень отчетливо, что ежели он тверд в вере, то никто не только не тронет его, но и не может тронуть. Он сам сознавал себя твердыней,

и кратковременные капризы его с губернатором были не больше как обоюдное развлечение двух твердынь. А так как последнему это было так же хорошо известно, как и дедушке, то он, конечно, остерегся бы сказать, как это делается в странах, где особых твердынь по штату не полагается: я вас, милостивый государь, туда турну, где Макар телят не гонял! – потому что дедушка на такой реприманд, нимало не сумнясь, ответил бы: вы не осмелитесь это сделать, ибо я сам государя моего отставной подпоручик! И губернатор, наверное, прикусил бы язык, потому что дедушкина твердость в вере была такова, что вошла даже в пословицу. Припомним, что в ту пору не было ни эмансипации, ни вольного труда, ни вольной продажи вина, и вообще ничего такого, что поселяет в человеческой совести разлад и зарождает в человеке печальные думы о коловратности счастья. А коль скоро нет в жизни разлада, то человек, даже без всякого давления фанатизма, имеет веру сильную и стремительную. Он смотрит – в одну точку, около которой располагает и все прочие подробности жизни. А так как эта точка не только существовала для наших пращуров, но и составляла совершеннейший пантеон, то человеку, убежденному, что он находится в самом центре храма славы, весьма естественно было примириться с некоторыми его недостатками, заключавшимися в однообразии предоставляемых им наслаждений. И отъездное поле, и потрясающая бедрами девка Палашка, и даже хождение по комнатам, украшенными шкапиками с графинчиками, – все это выносилось безропотно, потому что во всем этом виделся символ, за которым пряталась идея о праве и долге.

Мы, потомки дедушки Матвея Ивановича, никаких подобного рода интересов не имеем. Мы как-то вдруг опешили и убедились, что у нас от нашего права не осталось ни капельки. Собрания наши малолюдны; мы не пикируемся, потому что пикироваться на манер пращуров не имеем уже повода, а каким образом пикироваться на новый манер – еще не придумали. С другой стороны, мы не срываем скатертей с сервированных столов, не услаждаемся потрясениями доморощенных Палашек, потому что это слишком дорого стоит. Для того чтобы иметь хоть призрак тех удовольствий, которыми пользовались наши пращуры, мы должны ехать в Петербург и там, в складчину, по два рубля с рыла, облизываться на Шнейдершу, *qui se gratte les jambes et les hanches*. Но ведь Шнейдерша – достояние общее, а при общедоступности доставляемого ею удовольствия кто же из нас может сказать: это моя Шнейдерша! как, бывало, говорил дедушка Матвей Иванович: это моя Палашка! А в возможности подобных-то восклицаний и заключается тайна живучести тех несложных удовольствий, которые составляют удел наш. Вникните в смысл этого восклицания, вслушайтесь в тон, которым оно сказано, – и вы убедитесь, что тут звучит нечто больше нежели просто удовлетворенная необузданность. Вы почувствуете, что Палашка была для дедушки не просто Палашкой, а олицетворением его права; что он, услаждая свой взор ее потрясениями, приобретал не на два рубля с рыла удовольствия, а сознавал удовлетворенным свое чувство дворянина. А мы что? Мы даже m-lle Филиппо не можем заставить спеть «*L'amour – se n'est que cela*»,³⁰ ежели этой песенки не значится в афишах. Да если бы и имели возможность заставить – что же потом? Или, быть может, есть у нас, кроме m-lle Филиппо и ее песенок, и другие какие-нибудь интересы, как, например: ужин с шампанским у Дюссо, устрицы с шампанским у Елисеева и номер в гостинице для отдохновения от пьяно проведенной ночи?

Понятно, что мы разочарованы и нигде не можем найти себе места. Мы не выработали ни новых интересов, ни новых способов жуировать жизнью, ни того, ни другого. Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать жизнью остались во всей неприкосновенности. Очевидно, что, при таком положении вещей, не помогут нам никакие кривляния, хотя бы они производились даже с талантливостью m-lle Schneider.

Вторым оттеняющим жизнь элементом было сознание властности. Чтобы понять всю важность этого элемента, представьте себе бессребреника квартального надзирателя, обяжите

³⁰ «Любовь – это вот что».

его с утра до вечера распоряжаться на базаре и оставьте при нем только сладкое сознание исполненных обязанностей. Наверное, он в самый короткий срок выйдет в отставку. Помилуйте, – скажет, из-за чего тут биться! и грошей не собирать, да еще какие-то обязанности наблюдать! разве с ними, чертями, так можно! Но скажите тому же квартальному: друг мой! на тебя возложены важные и скучные обязанности, но для того, чтобы исполнение их не было слишком противно, дается тебе в руки власть – и вы увидите, как он воспрянет духом и каких наделает чудес! Увы! как ни малопродуктивно занятие, формулируемое выражением «гнуть в бараний рог», но при отсутствии других занятий, при отчаянном однообразии общего тона жизни, и оно освежает. Дедушка Матвей Иванович говаривал: когда я иду, то земля подо мной дрожит, – и радовался этому обстоятельству. Конечно, это была радость неразвитого человека, но это была настоящая, заправская радость, и отвергать возможность ее нет ни малейшего основания.

Есть наслаждение и в дикости лесов,

сказал поэт, а дедушка мой, с своей стороны, мог прибавить: есть наслаждение и в сечении, разумея под этим, впрочем, не самый процесс сечения, а принцип его. Конечно, мы, по чувству учтивости, отвергаем такого рода наслаждения, но так как они существовали на нашей памяти, то понимать их все-таки можем. Если мы в настоящее время и сознаем, что желание властвовать над ближними есть признак умственной и нравственной грубости, то кажется, что сознание это пришло к нам путем только теоретическим, а подоплека наша и теперь вряд ли далеко ушла от этой грубости. Всякий вслух глумится над позывами властности, но всякий же про себя держит такую речь: а ведь если б только пустили, какого бы я звону задал! Я думаю даже, что большая часть наших горестей от того происходит, что нам не над кем и не над чем повластвовать. А дедушке Матвею Ивановичу было над чем а над кем повластвовать, и он понимал себя в этом отношении не пятым колесом в колеснице и не отставным козы барабанщиком. Смотрит он, например, на девку Палашку, как она коверкается, и в то же время, если не формулирует, то всем существом сознает: я с этой Палашкой что хочу, то сделаю: захочу – косу обстригу, захочу – за Антипку-пастуха замуж выдам!

– Палашка! хочешь за пастуха Антипку замуж!

– Помилуйте, барин! чем же я провинилась! кажется, стараюсь!

– А ну, Христос с тобой! пляши!

И Палашка ожесточеннее прежнего упирала руки в боки, прыгала, крутилась, взвизгивала, а дедушка посматривал на ее плясательные пароксизмы и думал про себя: однако важно я ее, поганку, напугал!

И таким образом, в общее однообразие жизни прокрадывалась новая стихия, которая ее оживляла и скрашивала.

Мы, потомки дедушки Матвея Ивановича, лишены даже такого сорта оживляющих эпизодов.

– *Мы курице не можем сделать зла!* – *ma parole!*³¹ говорил мне на днях мой друг Сеня Бирюков, – объясни же мне, ради Христа, какого рода роль мы играем в природе?

И я ничего не мог ни возразить, ни объяснить, ибо знаю, что, по утвердившемся на улице понятию, обладание властью действительно равносильно возможности гнуть в бараний рог и что в этом смысле мы, точно, никакой власти не имеем. Или, быть может, мы имеем ее в каком-нибудь другом смысле?.. *Risum teneatis, amici!*

Но если такое убеждение об утраченной властности уже укоренилось в нас, то, очевидно, нам остается нести иго жизни без всякого сознания, что мы что-нибудь можем, и, напротив того, с полным и горьким сознанием, что с нами все совершить можно. Мы так и поступаем.

³¹ честное слово!

Конечно, с нашей стороны это очень большая добродетель, и мы имеем-таки право утешать себя мыслью, что дальше от властности – дальше от зла; но ведь вопрос не о тех добродетелях, которые отрицательным путем очень легко достаются, а о той скуке, о тех жизненных неудобствах, которые составляют естественное последствие всякой страдательной добродетели. У меня был очень добродетельный дяденька, который служил заседателем в суде и которому, именно за добродетель его, было велено подать в отставку. Я живо помню, что когда это случилось, то не только сам дяденька, но и все родные были в неопisanном волнении.

- Мухи не обидел! – говорил дяденька.
- Мухи не обидел! – восклицали родные.
- Мухи не обидел! – шептались между собой дворовые.
- Мухи не обидел! – рассуждали дяденькины сослуживцы.

Это было действительно сладкое сознание; но кончилось дело все-таки тем, что дяденька же должен был всех приходивших к нему с выражениями сочувствия угощать водкой и пирогом. Так он и умер с сладкою уверенностью, что не обидел мухи и что за это, именно за это, должен был выйти в отставку.

Не то же ли явление повторяется теперь надо мною? Дедушка Матвей Иванович обидел многих – и жил! Я, его внук, клянусь честью, именно мухи не обидел и чувствую себя находящимся от жизни в отставке! За что?

За что? вникните в этот вопрос; вспомните, что его повторяют многие тысячи людей, и рассудите, каковы должны быть люди, у которых не выработалось никаких других вопросов, кроме: за что?

Третье подспорье – интерес сельскохозяйственный. Надобно сознаться, что интерес этот, во времена дедушки, был обставлен очень рутинно и сам по себе занимал наших предков весьма умеренно. Но они самими условиями жизни были поставлены в центре хозяйственной сутолоки и потому, волею-неволею, не могли оставаться ей чуждыми. Не было речи ни об улучшениях, ни о преимуществах той или другой системы, ни о замене человеческого труда машинным (об исключениях, разумеется, я не говорю), но была бесконечная ходьба, неумолкаемое галдение, понукание и помыкание во всех видах и, наконец, та надоедливая придиричность, которая положила основание пословице: свой глазок-смотрок. Этот «глазок-смотрок» очень мало видел, но смотрел, действительно, много, и этого было достаточно, чтоб наполнить время всевозможными распорядительными подробностями. Наши пращуры не хозяйничали в собственном смысле этого слова, а «спрашивали». Дедушка Матвей Иванович так рассуждал: распорядиться работами – дело приказчика и старосты, а мое дело с них «спросить». И действительно, «спрашивал» много, хотя в этом «спрашиванье» первое место, конечно, занимала случайность. Поедет, бывало, дедушка в беговых дрожках на пашню, наедет на пропашку или на ком не тронутой бороной земли – и «спросит». Пойдет на гумно, захватит в горсть мякины, усмотрит в ней невывеянные зерна – и опять «спросит». Все в этом хозяйничанье основывалось на случайности, на том, что дедушка захватывал ту, а не другую горсть мякины; но эта случайность составляла один из тех жизненных эпизодов, совокупность которых заставляла говорить: в сельском хозяйстве вздохнуть некогда; сельское хозяйство такое дело, что только на минутку ты от него отвернешься, так оно тебя рублем по карману наказало. Допустим, что это было самообольщение, но ведь вопрос не в том, правильно или неправильно смотрит человек на дело своей жизни, а в том, есть ли у него хоть какое-нибудь дело, около которого он может держаться. Дедушка, например, слыл одним из лучших хозяев в губернии, а между тем я положительно знаю, что он ни бельмеса не смыслил в хозяйстве, то есть пахал и сеял там (земли, дескать, вдоволь, рабочие руки даром – а все же хоть полтора зерна да уродится!), где нынче ни один человек со смыслом пахать и сеять не станет. Но он умел «спрашивать», и в этом заключалась вся тайна его репутации. И эта потребность «спрашивать» не сосредоточивалась на одном хозяйстве, но преследовала его всюду, окрашивала всю остальную его деятельность,

сообщая ей характер неумолкающей суеты. Он везде «спрашивал», везде являл себя энциклопедистом. И хотя эта суета в конце концов не создала и сотой доли того, что она могла бы создать, если бы была применена более осмысленным образом, но она помогала жить и до известной степени оттеняла ту вещь, которая известна под именем жуировки и которую, без этих вспомогательных средств, следовало бы назвать смертельной тоской.

Мы, потомки дедушки Матвея Ивановича, решительно никаких хозяйственных интересов не имеем. Зачем, спрашиваю я вас, пойду я на пашню или на гумно? С кого я «спрошу»? А ведь и у меня, точно так же как и у дедушки, кроме «спрашиванья», никаких других распорядительных средств по части сельского хозяйства не имеется. Поэтому, если мне и случается как-нибудь заблудиться на гумне, то я отнюдь не позволяю себе прикоснуться ни к мякине, ни к провеянному зерну. К чему? ведь это любопытство только растравит мои раны! И заочно я совершенно уверен, что провеянное зерно содержит в себе наполовину мякины, а напротив, мякина содержит наполовину невывезанного зерна, – зачем же я буду удостоверяться в этом? Лучше я буду сидеть и вздыхать. Вздыхать это мое право, и я тем с большим увлечением пользуюсь им, что это единственное право, которое я сам выработал и которого никто у меня не отнимет. В самом деле, не обидно ли: я не только не меньше дедушки знаю толк в сельском хозяйстве, но даже несколько больше, а между тем дедушка ежегодно ставил целый город скирдов, а у меня на гумне всего два скирдочка стоят, да и те какие-то растрепанные и накренившиеся набок. А все отчего? А оттого, милостивые государи, что как у меня, так и у дедушки, главное основание сельскохозяйственных распоряжений все-таки не что иное, как система «спрашивания», с тою лишь разницей, что дедушка мог «спрашивать», а я не могу. Следовательно, мне и хозяйничать нечего, а надлежит все бросить и как можно скорее ехать в столичный город Петербург и там наслаждаться пением девицы Филиппа, проглатыванием у Елисеева устриц и истреблением шампанских вин у Дюссо до тех пор, пока глаза не сделаются налитыми и вполне круглыми.

Затем, четвертый оттеняющий жизнь элемент – моцион... Но права на моцион, по-видимому, еще мы не утратили, а потому я и оставляю этот вопрос без рассмотрения. Не могу, однако ж, не заметить, что и этим правом мы пользуемся до крайности умеренно, потому что, собственно говоря, и ходить нам некуда и незачем, просто же идти куда глаза глядят – все еще как-то совестно.

Таким образом, вопрос, отчего нас так скоро утомляют те несложные удовольствия, которые нимало не пресыщали наших предков, отчасти разъясняется. Но, написавши изложенное выше, я невольным образом спрашиваю себя: ужели перо мое начертало апологию доброго старого времени – апологию тех патриархальных отношений, которые так картинно выражались в крепостном праве?

Не пугайся, однако ж, о слишком либеральный читатель! Речь идет вовсе не о том. Жаль не крепостного права, а жаль того, что право это, несмотря на его упразднение, еще живет в сердцах наших. Отрешившись от него внешним образом, мы не выработали себе ни бодрости, составляющей первый признак освобожденного от пут человека, ни новых взглядов на жизнь, ни более притязательных требований к ней, ни нового права, а просто-напросто успокоились на одном формальном признании факта упразднения. Разве этим все сказано? Разве это конец, а не начало?

Затем, я предоставляю каждому, по собственному усмотрению, разрешить второй из поставленных выше вопросов: насколько мы лучше наших пращуров и насколько сумели расширить наш кругозор? Я же, с своей стороны, могу разрешить этот вопрос лишь следующим образом:

Да, мы лучше наших пращуров. Но лучше не сами по себе, а потому, что мы отцы детей наших, которые несомненно будут лучше и наших пращуров, и нас.

* * *

Совершенно свежий и трезвый, я вышел на улицу с твердым намерением идти на все четыре стороны, как при самом выходе, на крыльце, меня застиг Прокоп.

– Так вот он где! – загремел он своим лающим голосом, – ну, батюшка, задали вы нам задачу!

Признаюсь, при звуке этого голоса я струсил. Вот, думаю, сейчас схватит он меня в охапку и опять потащит к Елисееву.

– Мы думали, что он тихим манером концессию выслеживает, а он, прошу покорно, Шнейдершу изучает! Видели, батюшка, видели!

– Да, кстати... а ваши дела по концессии?

– Ну их!

Прокоп вдруг заволновался, и несколько секунд я думал, что у него от гнева сперло в зобу дыхание.

– Нет, вы представьте себе, какая со мной штука случилась, – воскликнул он наконец, – все дело уж было на мази, и денег я с три пропасти рассорил, вдруг – хлоп решение: вести от Изюма дорогу несвоевременно! Это от Изюма-то!

– Гм... да... Изюм... это...

– Одно слово: Изюм! Только назови, всякий поймет! Да ведь кому у нас понимать-то! вы вот что мне скажите! Кому понимать-то!

Я чувствовал, что вот-вот Прокоп сейчас ударится в либерализм, и как-то инстинктивно пролепетал: – *prenez gardeon peut nous entendre...*³²

– Ну их! боюсь я их, что ли! По мне, хоть сколько хочешь подслушивай! Так вот, сударь, какие дела у нас делаются!

– Ну, и что ж теперь!

– Теперь я другую линию повел. Железнодорожную-то часть бросил. Я свое дело сделал, указал на Изюм – нельзя? – стало быть, куда хочешь, хоть к черту-дьяволу дороги води – мое дело теперь сторона! А я нынче по административной части гусара запустил. Хочу в губернаторы. С такими, скажу вам, людьми знакомство свел – отдай все, да и мало!

– А что?

– Да уж шабаш! Одно скверно – скучно очень, да и водки не подают. Не хотите ли, я вас сегодня вечером представлю? Сегодня в одном месте проект «об уничтожении» читать будут.

– Об уничтожении чего же?

– Ну... чего? разумеется, всего. И мировые суды чтоб уничтожить, и окружные суды чтобы побоку, и земство по шапке. Словом сказать, чтобы ширь да высь – и больше нечего!

– Что вы! да ведь это целая революция! – А вы как об этом полагали! Мы ведь не немцы, помаленьку не любим! Вон головорезы-то, слышали, чай? миллион триста тысяч голов требуют, ну, а мы, им в пику, сорок миллионов поясниц заполучить желаем!

Прокоп, сказав это, залился добродушнейшим смехом. Этот смех – именно драгоценнейшее качество, за которое решительно нет возможности не примириться с нашими кадыками. Не могут они злокознствовать серьезно, сейчас же сами свои козни на смех поднимают. А если который и начнет серьезничать, то, наверное, такую глупость сморозит, что тут же его в шуты произведут, и пойдет он ходить всю жизнь с надписью «гороховый шут».

– Однако это любопытно!

³² остерегайтесь... нас могут слышать...

– Еще как любопытно-то, умора! Нынче прожекты-то эти в моде: все пишут! Один пишет о сокращении, другой – о расширении. Недавно один из наших даже прожект о расстрелянии прислал – право!

– И что ж?

– На виду! Говорят: горяченько немного, однако кой-чем позаимствоваться можно.

– Стало быть, и вы...

– Еще бы. И я прожект о расточении написал. Ведь и мне, батюшка, пирожка-то хочется! Не удалось в одном месте – пробую в другом. Там побываю, в другом месте прислушаюсь – смотришь, ан помаленьку и привыкаю фразы-то округлять. Я нынче по очереди каждодневно в семи домах бываю и везде только и дела делаю, что прожекты об уничтожении выслушиваю.

Говоря таким образом, мы вышли на Невский проспект и поравнялись с Домиником.

– Зайти разве? – пригласил Прокоп, – ведь я с тех пор, как изюмскую-то линию порешили, к Елисееву – ни-ни! Ну его! А у Доминика, я вам доложу, кулебяки на гривенник съешь да огня на гривенник же проглотишь – и прав! Только вот мерзлого сига в кулебяку кладут – это уж скверно!

– Признаюсь, не хотелось бы заходить. Все пьешь да пьешь... Голова как-то...

– Да разве возможно не пить! Вот хоть бы то место, куда мы сегодня поедем, разве наш брат может там хоть один час пробыть, не подкрепившись заранее? Скучища адская, а развлечение – один чай. Кабы, кажется, не надежды мои на получение – ни одной минуты в этом постылом месте не остался бы!

Согласился. Съели по два куса кулебяки; выпили по две рюмки водки.

– Да обедаем вместе! Тут же, не выходя, и исполним все, что долг повелевает! Скверно здесь кормят – это так. И масло горькое, и салфетки какие-то... особливо вон та, в углу, что ножи обтирают... Ну, батюшка, да ведь за рублик – не прогневайтесь!

Одним словом, день пошел своим чередом.

Вечером Прокоп заставил меня надеть фрак и белый галстух, а в десять часов мы уже были в салонах князя Оболюдова-Тараканова.

Раут был в полном разгаре; в гостиной стоял говор; лакеи бесшумно разносили чай и печенье. Нас встретил хозяин, который, после первых же рекомендательных слов Прокопа, произнес:

– Рад-с. Нам, консерваторам, не мешает как можно теснее стоять друг около друга. Мы страдали изолированностью – и это нас погубило. Наши противники сходились между собою, обменивались мыслями – и в этом обмене нашли свою силу. Воспользуемся же этою силой и мы. Я теперь принимаю всех, лишь бы эти все гармонировали с моим образом мыслей; всех... *vous concevez?*³³ Я, впрочем, надеюсь, что вы консерватор?

Признаюсь, я так мало до сих пор думал о том, консерватор я или прогрессист, что чуть было не опешил перед этим вопросом. Притом же фраза: «Я теперь принимаю всех» как-то странно покорила меня. «Вот, – мелькнуло у меня в голове, – скотина! заискивает, принимает и тут же считает долгом дать почувствовать, что ты, в его глазах, не больше как – все!» Вот это-то, собственно, и называется у нас «сближением». Один принимает у себя другого и думает: «С каким бы я наслаждением вышвырнул тебя, курицына сына, за окно, кабы...», а другой сидит и тоже думает: «С каким бы я наслаждением плюнул тебе, гнусному пыжику, в лицо, кабы...» Представьте себе, что этого «кабы» не существует – какой обмен мыслей вдруг произошел бы между собеседниками! Быть может, соображения мои пошли бы и дальше по этому направлению, но, к счастью для меня, я встретил строгий взор Прокопа и поспешил на скорую руку сказать:

³³ понимаете?

– Mais oui! mais comment donc! mais certainement!³⁴

Затем последовало представление княгине и какому-то крошечному старичку (дяде хозяйина), который сидел отдельно на длинном кресле и имел вид черемисского божка, которому вымазали красною глиной щеки и, вместо глаз, вставили можжевельные ягодки.

Картина, представлявшаяся моим глазам, была следующего рода. Хозяин постоянно был на ногах и переходил от одной группы беседующих к другой. Это был человек довольно высокий, тощий и совершенно прямой; но возраста его я и теперь определить не могу. Скорее всего, это был один из тех людей без возраста, каких в настоящее время встречается довольно много и которые, едва покинув школьную скамью, уже смотрят государственными младенцами. Физиономия его имела что-то кисло-надменное; речь и движения были сдержанны и как бы брезгливы. Очевидно, тут все держалось очень усиленною внешнею выправкой, скрывавшей то внутреннее недоумение, которое обыкновенно отличает людей раздраженных и в то же время не умеющих себе ясно представить причину этого раздражения. Подобного рода выправка очень многими принимается за серьезность и представляет весьма значительное вспомогательное средство при составлении карьеры. Княгиня, женщина видная, очень красивая, сидела за особым *etablissement*,³⁵ около которого ютились какие-то поношенные люди, имевшие вид государственных семинаристов. Один из них объяснял на французском диалекте вопрос о соединении церквей, причем слегка касался и того, в каком отношении должна находиться Россия к догмату о папской непогрешимости. Тут же сидел французский *attache*, из породы брюнетов, который ел княгиню глазами и ждал только конца объяснений по церковным вопросам, чтобы, в свою очередь, объяснить княгине мотивы, побудившие императора Наполеона III начать мексиканскую войну. Гости сидели и стояли группами в три-четыре человека, и между ними я приметил несколько кадыков, которых видел у Елисеева и которые вели себя теперь необыкновенно солидно. В следующей комнате мелькали женские фигуры (то были сестры хозяйина и их подружки) вперемежку с безбородыми молодыми людьми, имевшими вид ососов. По временам оттуда долетал сдержанный смех, обыкновенно сопровождающий так называемые невинные игры. Я встал около дверей и увидел странное зрелище. Посредине комнаты стоял старик-француз, который с полупомешанным видом декламировал:

Petit oiseau! qui es-tu?³⁶

И затем, от лица птички, отвечал, что она – *l'envoye du ciel*,³⁷ родилась *dans les airs*³⁸ и т. д. Затем предлагал опять вопрос:

Petit oiseau! ou vas-tu?³⁹

И опять объяснял, что она летит, чтобы утешить молодую мать, отереть слезы невинному младенцу, наполнить радостью сердце поэта, пропеть узнику весть о его возлюбленной и т. д.

Petit oiseau! que veux-tu?⁴⁰

– Charmant! – восклицала молодая особа, – *monsieur Connot! mais recitez-nous donc quelque chose de «Zaire»!*

– «Zaire»! *mesdames*, – начал мсье Конно, становясь в позу, – *c'est comme vous le savez, une des meilleures tragedies de Voltaire...*⁴¹

³⁴ Ну разумеется, ну как же! конечно!

³⁵ столом.

³⁶ Птичка! кто ты?

³⁷ вестница неба.

³⁸ в воздушном пространстве.

³⁹ Птичка! куда ты летишь?

⁴⁰ Птичка! чего ты хочешь?

⁴¹ Прелестно! мсье Конно! прочитайте же нам что-нибудь из «Заиры»! – «Заира», сударыни, как вам известно, одна из лучших трагедий Вольтера...

Но я уже не слушал далее. Увы! не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.

Тем не менее я переломил себя и поспешил примкнуть к группе, в которой находился хозяин.

– Ваше мнение, *messieurs*, – говорил он, – вот насущная потребность нашего времени; вы – люди zemstva; вы – действительная консервативная сила России. Вы, наконец, стоите лицом к лицу с народом. Мы без вас, *selon l'aimable expression russe*⁴² – ни взад, ни вперед. Только теперь начинает разъясняться, сколько бедствий могло бы быть устранено, если бы были выслушаны лучшие люди России!

– «Излюбленные», ваше сиятельство! – осклабился какой-то государственный семинарист.

– Именно «излюбленные»! – *c'est le mot! Vous savez, messieurs, que du temps de Jean le Terrible il y avait de ces gens qu'on qualifiait d' «izlioublenny»*, et qui, ma foi, ne faisaient pas mal les affaires du feu tzar!⁴³

– А что там у нас делается, князь, кабы вы изволили видеть, – чудеса! доложил почтительным басом Прокоп, – народ споили, рабочих взять негде, хозяйство побросали... смотреть, ваше сиятельство, больно!

– Не отчаивайтесь... *ne perdez pas courage!*⁴⁴ Русский народ добр... *au fond, notre peuple est excellent!*⁴⁵ Впрочем, я уже давно все предвидел и изложил в моей записке об «устранении»... Теперь я кончаю мой другой труд – «об уничтожении», который, я надеюсь... К сожалению, я не могу сегодня представить его на ваш суд, потому что недостает несколько штрихов. Но у меня есть другой небольшой труд, который я немного погодя, *lorsque nous serons au complet*,⁴⁶ буду иметь честь прочесть вам.

– Нет, вы скажите, ваше сиятельство, куда это нас приведет?

– Боюсь сказать, но думаю выразить мысль, общую нам всем: мы быстрыми, но твердыми шагами приближаемся... *en un mot, nous dansons sur un volcan!*⁴⁷

– Да еще на каком волкане-то, князь! Ведь это точь-в-точь лихорадка: то посредники, то акцизные, то судьи, а теперь даже все вместе! Конечно, вам отсюда этого не видно...

– Но поэтому-то мы и просим вас, *messieurs*: высказитесь! дайте услышать ваш голос! *Expliquez-nous le fin mot de la chose – et alors nous verrons...*⁴⁸ По крайней мере, я убежден, что если б каждый помещик прислал свой проект... *mais un tout petit projet!*...⁴⁹ согласитесь, что это не трудно! Вы какого об этом мнения? – внезапно обратился князь ко мне...

– *Mais oui! mais comment donc! un tout petit projet! Mais avec plaisir!*⁵⁰ – на скорую руку выговорил я, и вслед за тем употребил очень ловкий маневр, чтобы незаметным образом отделиться от этой группы и примкнуть к другой.

– Куда мы идем! – слышалось в этой другой группе, – к чему приближаемся!

– И это та самая Россия, которая, двадцать лет тому назад, цвела! *Pauvre chere patrie!*⁵¹

⁴² по милому русскому выражению.

⁴³ вот именно! Вы знаете, господа, что во времена Ивана Грозного существовали люди, которых именовали «излюбленными» и которые, право же, неплохо вели дела покойного царя!

⁴⁴ не теряйте бодрости!

⁴⁵ в сущности, наш народ превосходен!

⁴⁶ когда мы будем в полном составе.

⁴⁷ одним словом, мы пляшем на вулкане!

⁴⁸ Разъясните нам суть дела – и тогда мы посмотрим...

⁴⁹ совсем маленький проект!..

⁵⁰ Да! конечно! совсем маленький проект! С удовольствием!

⁵¹ Бедная дорогая родина!

– Тогда каждый крестьянин по праздникам щи с говядиной ел! пироги! А нынче! попробуйте-ка спросить, на сколько дворов одна корова приходится?

– Comment? Comment dites-vous?⁵² – слышался голос хозяина, – прежде мужики ели щи с говядиной?.. vous en etes bien sur?⁵³

– Точно так, ваше сиятельство. В моем собственном имении так было. А в храмовые праздники даже уток резали!

– Ссс... А теперь, вы говорите, одна корова на несколько дворов!

– Это верно-с. Да что же тут мудреного, ваше сиятельство! Сначала посредники, потом акцизные, потом судьи. Ведь это почти лихорадка-с! Вот вы недавно оттуда; как вы об этом думаете?

– Я... что ж... я, конечно... Mais oui! mais comment donc! mais certainement!⁵⁴ – пробормотал я опять на скорую руку и тут же предпринял маневр, чтобы как-нибудь примкнуть к третьей группе.

– Народ без религии – все равно что тело без души, – шамкал какой-то седовласый младенец, – отнимите у человека душу, и тело перестает функционировать, делается бездушным трупом; точно так же, отнимите у народа религию – и он внезапно погрязает в пучине апатии. Он перестает возделывать поля, становится непочтителен к старшим, и в своем высокомерии возвышает заработную плату до таких размеров, что и предпринимателю ничего больше не остается, как оставить свои плодотворные проекты и идти искать счастья ailleurs!⁵⁵

– Куда мы идем! вот что вы объясните нам!

– Без религии, без авторитетов, без истинного знания куда же можно прийти, кроме... Но я не произношу этого страшного слова; я просто зажмуриваю глаза, и говорю: Dieu, qui mene toutes choses a bien, ne laissera pas perir notre chere et sainte Russie...⁵⁶ нашу святую, православную Русь, messieurs!

Тут уж я сам не выдержал и произнес:

– Mais oui! mais comment donc! mais certainement!⁵⁷ При этом перерыве седовласый младенец посмотрел на меня так изумленно, как будто я оскорбил его. Взор его совершенно явственно говорил: qu'est-ce qu'il veut, cet intrus, avec son «comment donc»!⁵⁸ Я вспомнил недавние слова хозяина «теперь мы принимаем всех», и в уме моем опять мелькнуло: скотина! Нечего и говорить, что я сейчас же поспешил осчастливить своим присутствием четвертую группу.

– Земледелие уничтожено, промышленность чуть-чуть дышит (прошедшим летом, в мою бытность в уездном городе, мне понадобилось пришить пуговицу к пальто, и я буквально – a la lettre! – не нашел человека, который взял бы на себя эту операцию!), в торговле застой... скажите, куда мы идем!

В ответ слышатся вздохи.

– Я, впрочем, десять лет тому назад предвидел это. Я уже тогда всем и каждому говорил: messieurs! мы стоим у подошвы волкана! Остерегитесь, ибо еще шаг – и мы будем на вершине оного!

– Mais oui! mais certainement! mais comment donc! – отвечает кто-то за меня, покуда я маневрирую к пятой группе.

⁵² Как? Как вы говорите?

⁵³ вы в этом уверены?

⁵⁴ Ну разумеется, ну как же, конечно!

⁵⁵ в другом месте!

⁵⁶ Бог, который направляет все к благу, не допустит гибели нашей дорогой святой Руси...

⁵⁷ Ну разумеется, ну как же! конечно!

⁵⁸ чего хочет этот пришелец со своим «как же»!

– И чего церемонятся с этою паскудною литературой! – слышится в этой группе, – ведь это, наконец, неслыханно!

– А суд, ваше превосходительство, между тем оправдывает-с!

– Ах! этот суд! вот он где у меня сидит! Этот суд!!

– Я, ваше превосходительство, записку составил, где именно доказываю, что в литературе нашей, со смерти Булгарина, ничего, кроме тлетворного направления, не существует-с.

– Тлетворное – *c'est le mot! C'est un malfaiteur qui tue par sa puanteur nauseabonde!*⁵⁹ Я со времени покойного Николая Михайловича (*c'était le bon temps!*⁶⁰) ничего не читаю, но на днях мне, для курьеза, прочитали пять строк... всего пять строк! И клянусь вам богом, что я увидел тут все: и дискредитирование власти, и презрение к обществу, и насмешку над религией, и космополитизм, и выхваление социализма... *Ma parole! c'était tout un petit cosmos d'immondices de tout genre!*⁶¹

– Я, ваше превосходительство, именно эту самую мысль в моей записке провожу-с!

– И прекрасно делаете, друг мой! Надобно, непременно надобно, чтобы люди бодрые, сильные спасали общество от растлевающих людей! И каких там еще идей нужно, когда вокруг нас все, с божьею помощью, цветет и благоухает! *N'est-ce pas, mon jeune ami?*⁶²

Увы! вопрос этот относился опять ко мне, и я опять не нашел никакого ответа, кроме:

– *Mais oui! mais comment donc! mais certainement!*

К счастью, в это время в гостиной раздалось довольно громогласное «шшш». Я обернулся и увидел, что хозяин сидит около одного из столов и держит в руках исписанный лист бумаги.

– *Messieurs*, – говорил он, – по желанию некоторых уважаемых лиц, я решаюсь передать на ваш суд отрывок из предпринятого мною обширного труда «об уничтожении». Отрывок этот носит название «Как мы относимся к прогрессу?», и я помещу его в передовом номере одной газеты, которая имеет на днях появиться в свет...

– *Mesdemoiselles! voulez-vous bien venir écouter ce que va lire le prince!*⁶³ обратилась княгиня в другую комнату.

Смех и шум прекратились; молодежь высыпала в гостиную.

– Надо вам объяснить, *messieurs*, что мы, то есть люди консервативной партии, давно чувствовали потребность в печатном органе. У нас была одно время газета, но, отчасти по недостатку энергии, отчасти вследствие некоторой шаткости понятий, она должна была прекратить свое плодотворное существование. Теперь мы решились издавать новую газету под юмористическим названием «Шалопай, ежедневное консервативно-либеральное прибежище для молодцов, не знающих, куда приклонить голову». Мы выбрали это название, потому что оно совершенно в русском, немножко насмешливом тоне... *N'est-ce pas, messieurs!*⁶⁴

– Из-за одного заглавия, ваше сиятельство, сколько будет пренумерантов! вот увидите! – вставил свое слово господин, который хвастался запиской о тлетворном направлении современной русской литературы.

– Итак, *messieurs*, приступим.

Как мы относимся к прогрессу?

«Сила совершившихся фактов, без сомнения, не подлежит отрицанию. Факт совершился – следовательно, не принять его нельзя. Его нельзя не принять, потому что он факт, и притом

⁵⁹ вот именно! Это злодей, который убивает своим вредоносным зловонием!

⁶⁰ то было доброе время!

⁶¹ Даю слово! это был целый мирок всевозможных гадостей!

⁶² Не правда ли, мой юный друг?

⁶³ Барышни, не хотите ли послушать, что будет читать князь!

⁶⁴ Не правда ли, господа?

не просто факт, но факт совершившийся (в публике говор: *quelle lucidite!*⁶⁵). Это, так сказать, фундамент, или, лучше сказать, азбука, или, еще лучше, отправный пункт.

Итак, факт совершился!!

И мы не отрицаем его, но принимаем с благодарностью. Мы с благоговейною благодарностью принимаем все совершившиеся факты, хотя бы появление некоторых из них казалось нам прискорбным и даже легкомысленным (в публике: *avalez-moi cela, messeigneurs!*⁶⁶). Факт совершился – и мы благодарим. Мы благодарим, потому что мы благодарны по самой природе, потому что наши предания, заветы наших отцов, наше воспитание, правила, внушенные нам с детства, – все, *en un mot*,⁶⁷ создало нас благодарными...»

– Pardon! – раздается голос старого дяди, – *vous avez fourre la une expression francaise! Mettez plutot*,⁶⁸ – «одним словом...».

– C'est juste, mon oncle!⁶⁹ Итак, messieurs:

«...Все, одним словом, создало нас благодарными. Мы не можем ие благодарить, точно так же как не можем не принести наши сердца на алтарь отечества в минуту опасности. Отечество, находящееся в опасности, – это мы сами, находящиеся в опасности! И мы не принесем ему в дар сердца наши! мы поспешим приветствовать его врагов! Нет, мы не сделаем ни того, ни этого, потому что отечество и мы – это что-то совершенно нераздельное. Это до такой степени не подлежит отделению, в смысле умственности, как и в смысле материальности, что как отечество не может существовать без нас, так и мы не можем существовать без него. А потому, возвращаясь к первичной моей мысли, повторяю: мы благодарим, ибо это есть наша натура.

Теперь рассмотрим несколько близким образом, что такое есть это священное право благодарить?

Благодарить – это фимиам. Это возносящийся фимиам сердца. Точно так же, как для того, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше обзнакомиться с русским языком и памятниками грамотности, точно так же, повторяем мы, для того, чтобы благодарить, надобно иметь доброе и преданнейшее сердце. Но преданнейшее сердце не только благодарит, но и преимущественнейше предостерегает. Или, лучше сказать, не предостерегает, в грубом значении этого слова, но от благодарных чувств заявляет. Мы не отрицаем совершившихся фактов, мы благодарим, но в то же время заявляем! Мы заявляем, потому что имеем преданнейшее сердце, и потому заявление является на устах наших не в печальном образе горькой улыбки, но в прекрасном виде улыбки, исполненной доверия. Мы не осмеливаемся изречь из наших уст: довольно! ибо не можем даже знать, действительно ли есть то довольно, что нам кажется таковым. Но мы говорим: примите благоговейный фимиам, который испускают наши сердца, и ежели мы ошибаемся, то дайте нашей мыслительности другое направление!»

– Encore une fois pardon!⁷⁰ – вновь откликается дядя, – мне кажется, это не совсем точно! Не лучше ли сказать: «дайте другое и, конечно, столь же благоговейное направление нашей мыслительности»? А еще бы лучше: нашим мыслительным благожелательностям? *N'oubliez pas, mon cher, que vous protestez* (ты мягко постилаешь, но спать на твоей постели весьма будет жестко! *comme dit un charmant proverbe russe*), *et tu sais que dans ces choses-la rien n'est a negliger!*⁷¹ (Присутствующие переглядываются между собой, как бы говоря: какой тонкий старик!)

⁶⁵ какая ясность ума!

⁶⁶ извольте и это проглотить, господа!

⁶⁷ одним словом.

⁶⁸ вы ввели тут французское выражение! Скажите лучше.

⁶⁹ Правильно, дядюшка!

⁷⁰ Еще раз извините!

⁷¹ Не забывайте, дорогой мой, что вы протестуете... (как гласит превосходная русская пословица), а ты знаешь, что в этих

– Merci, mon oncle, vous avez touche juste!⁷² Итак, messieurs, будем продолжать в измененной редакции:

«другое, и, конечно, столь же благоговейное направление нашим мыслительным благожелательностям.

Итак, факт совершился. Мы все видели его совершение, и сердца наши благожелательно, можно сказать, благоговейно содрогались. Теперь, мы спрашиваем себя только, должен ли повторяться этот едва совершившийся факт безгранично? и на вопрос этот позволяем себе думать, что ежели бы рядом с совершившимся фактом было поставлено благодетельное тире, то от сего наши сердца преисполнились бы не менее благоговейною признательностью, каковою был фимиам, наполнявший их по поводу совершившегося факта. Мы были благодарны за факт, но мы, конечно, будем не меньше благодарить и за тире, ибо, как я сказал уже выше, право благодарить есть, так сказать, лучшее и преимущественнейшее право, которое мы за собой признаем!

Совершившийся факт – это есть мудрость. Тире – это есть более нежели мудрость: это мудрость в мудрости (*quelle profondeur!*⁷³). Вспомним по сему случаю Наполеона III, а в настоящую минуту князя Бисмарка. Они сие должны со временем познать, что мы теперь от себя скромным образом утверждаем. Вспомним еще великого преобразователя экономических законов Англии, Роберта Пиля, но не забудем и величайшего Вашингтона! Везде и повсюду – закон один, который есть таков: прогресс – это мудрость стремительная, уносящая за собой историю; тире – это мудрость, оглядывающаяся назад, скующая историю, а не низвергающая ее в прах!

Стало быть, если мы благоговейно просим поставить тире, то не только не грешим против мудрости действительной, но даже споспешествующим образом доказываем, какая от того есть приносимая польза.

Мы объяснились с нашими читателями с открытым сердцем; надеемся, что они с таковым же отнесутся и к нам. Быть может, нас будут бранить ретроgrадами, но мы того не боимся. Мы не имеем ничего бояться, ибо мы не ретроgrады. Мы только не хотим бежать вперед сломя голову, потому что ежели все побегут и от того сломают головы, что может из сего произойти, кроме несвоевременной гибели? Вот этого именно вопроса никогда не задают себе господа слишком пламенные прогрессисты, но не мешало бы от времени до времени все оное себе припоминать. Мы говорим: не мешало бы, потому что никогда не мешает то, что есть само по себе полезно. А что припоминание такого рода полезно, то это несомненно доказывается приносимую им везде и повсюду бесчисленной пользой.

Затем, прощаясь с читателями до следующего нумера, в коем постараемся обстоятельно объяснить нашу *profession de foi*,⁷⁴ воскликнем: с нами наше право, а затем, да пребудет над нами божие благословение!»

Хозяин умолк. В публике раздавались сдержанные восклицания: «Прекрасно!», «Мастерски!», «*Bien écrit et surtout bien pense!*»⁷⁵

Но я почти обезумел от скуки. Никогда я так ясно не сознавал, что пора пить водку, как в эту минуту. Прокоп, очевидно, следил за выражением моего лица, потому что подошел ко мне, как только кончилось чтение.

– Уйдем! на тебе лица нет! тошнит тебя, что ли! (Он вдруг начал говорить мне «ты».)

Мы вышли; нас охватила лунная, морозная петербургская ночь.

вещах нельзя ничем пренебрегать!

⁷² Благодарю, дядюшка, вы правильно подметили!

⁷³ какая глубина!

⁷⁴ символ веры.

⁷⁵ прекрасно написано и в особенности прекрасно задумано!

– Айда к Палкину! – скомандовал Прокоп извозчику, – я, брат, нынче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тут крепки. Есть устрицы у Елисеева, да ужинать у Дюссо тогда хорошо, когда на сердце легко. Концессию там выхлопотываешь или Шнейдершу облюбовываешь – ну, и тянет тебя к легкому напитку. А как наслушаешься прожектов «об уничтожении» да «о расстрелянии», так на сердце-то делается так моркотно, так моркотно, что рад целую четверть выпить, чтобы его опять в прежнее положение привести! А какова статейка-то?

– Гм... да... статья... это...

Вспомнив про статью, я так обозлился, что не своим голосом закричал на извозчика: пошел!

– Да, брат, за такие статейки в уездных училищах штанишки снимают, а он еще вон как кочевряжится: «Для того, говорит, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше ознакомиться с русским языком...» Вот и поди ты с ним!

Мы пробеседовали у Палкина до двух часов. Съели только по одному бифштексу, но выпили...

Одним словом, мы вышли на улицу, держась под руки. Кажется, даже мы пели песни.

* * *

На другой день утром, вероятно в видах скорейшего вытрезвления, Прокоп принес мне знаменитый проект «о расстрелянии и благих оного последствиях», составленный ветлужским помещиком Поскудниковым. Проекту предпослано вступление, в котором автор объясняет, что хотя он, со времени известного происшествия, живет в деревне не у дел, но здоровье его настолько еще крепко, что он и на другом поприще мог бы довольно многое «всеусерднейше и не к стыду» совершить. А коль скоро человек в чем-нибудь убежден, то весьма естественно, что в нем является желание в том же убедить и других. Отсюда попытка разьяснить вопрос: отчего все сие происходит? а затем и осуществление этой попытки в форме предлагаемого проекта.

«Отчего все сие происходит?» – конечно, от недостатка спасительной строгости. Если бы, например, своевременно было прибегнуто к расстрелянию, то и общество было бы спасено, и молодое поколение ограждено от заразы заблуждений. Конечно, не легко лишить человека жизни, «сего первейшего дара милосердного творца», но автор и не требует, чтобы расстреливали всех поголовно, а предлагает только: «расстреливать, по внимательном всех вин рассмотрении, но неукоснительно». И тогда «все сие» исчезнет, «лицо же добродетели, ныне потускневшее, воссияет вновь, как десять лет тому назад».

Некоторые мотивы, которыми автор обуславливает необходимость предлагаемой меры, не изъяты даже чувствительности. Так, например, в одном месте он выражается так: «Молодые люди, увлекаемые пылкостью нрава и подчиняясь тлетворным влияниям, целыми толпами устремляются в бездну, а так как подобное устремление законами нашего отечества не допускается, то и видят сии несчастные младае свои существования подсеченными в самом начале (честное слово, я даже прослезился, читая эти строки!). А мы равнодушными глазами смотрим на сие странное позорище, видим гибель самой цветущей и, быть может, самой способной нашей молодежи, и не хотим пальцем об палец ударить, чтобы спасти ее. Устремим же наши спасительные лады для спасения сих утопающих! подадим руку помощи этим несчастным увлекающимся юношам! Сделаем все сие – и тогда с спокойною совестью скажем себе: мы совершили все для ограждения детей наших!»

Но всего замечательнее то, что и вступление, и самый проект умещаются на одном листе, написанном очень разгонистою рукой! Как мало нужно, чтоб заставить воссиять лицо добродетели! В особенности же кратки заключения, к которым приходит автор. Вот они:

«А потому полагается бесполезным подвергнуть расстрелянию нижеследующих лиц:

Первое, всех несогласно мыслящих.

Второе, всех, в поведении коих замечается скрытность и отсутствие чистосердечия.
Третье, всех, кои угрюмым очертанием лица огорчают сердца благонамеренных обывателей.

Четвертое, зубоскалов и газетчиков».

И только.

* * *

Вечером мы были на рауте у председателя общества чающих движения воды, действительного статского советника Стрекозы. Присутствовали почти все старики, и потому в комнатах господствовал какой-то особенный, старческий запах. Подавали чай и читали статью, в которой современная русская литература сравнивалась с вавилонскою блудницей. В промежутках, между чаем и чтением, происходил обмен вздохов (то были именно не мысли, а вздохи).

– Где те времена, когда пел сладкогласный Жуковский? когда Карамзин пленял свою прозой? – вздыхал один.

– «Как лебедь на берегах Меандра...» – зажмурив глаза, вздыхал другой.

– Увы! из всей этой плеяды остался только господин Страхов! – вздыхая, вторил третий.

– Куда мы идем? куда мы идем! – вздыхал четвертый. Старцы задумывались и в такт покачивали головами.

Очень возможное дело, что они так и заснули бы в этой позе, если бы от времени до времени не пробуждал их возглас:

– И это литература! Куда мы идем?

Я пробыл у действительного статского советника Стрекозы с девяти до одиннадцати часов и насчитал, что в течение этого времени, по крайней мере, двадцать раз был повторен вопрос: «куда мы идем?» Это произвело на меня такое тоскливое, давящее впечатление, что, когда мы вышли с Прокопом на улицу, я сам безотчетно воскликнул:

– Куда же мы в самом деле идем?

– Сегодня я сведу тебя к Шухардину, – ответил Прокоп, – а завтра, если бог грехам потерпит, направим стопы в «Старый Пекин».

Опять два бифштекса и, что всего неприятнее – опять возвращение домой с песнями. И с чего я вдруг так распелся? Я начинаю опасаться, что если дело пойдет таким образом дальше, то меня непременно когда-нибудь посадят в часть.

На третий день раут у председателя общества благих начинаний, отставного генерала Проходимцева. Приходим и застаем компанию человек в двенадцать. Все отставные провиантские чиновники, заявившие о необыкновенном усердии во время Севастопольской кампании. У всех на лице написано: я по суду не изобличен, а потому надеюсь еще послужить! Общество сидит вокруг чайного стола; хозяин читает:⁷⁶

– А он: моя ты лада!
Есть место репе, точно,
Но сад засеять надо
За то, что он цветочный!

– Прекрасно! не в бровь, а прямо в глаз!

– Куда мы идем? скажите, куда мы идем?

⁷⁶ Отрывки, приводимые ниже, взяты из стихотворения графа А. К. Толстого «Баллада с тенденцией». Любопытствующие могут отыскать эту балладу в «Русском вестнике» 1871 года за октябрь. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– Позвольте, господа! послушайте, что дальше будет!

– Ее (рощу) порубят, лада
На здание такое,
Где б жирные говяды
Кормились на жаркое!

– Но какой стих! Вот, наконец, настоящая-то сатира!

– Шш... шш... слушайте! слушайте!

– О, друг ты мой единый!
Воскликнула невеста,
Ужель для той скотины
Иного нету места?
– Есть много места, лада,
Но тот приют тенистый
Затем изгадить надо,
Что в нем свежо и чисто!

– Именно! именно! – рукоплескали отставные провиантские чиновники, и затем поднялся хохот, который и не прерывался уже до самого конца пьесы. Особенный фурор произвело следующее определение современного материалиста.

Они ж, матерьялисты,
От имени прогресса,
Кричат, что трубочисты
Суть выше Апеллеса...

– «Суть выше Апеллеса»! Каков, господа, пошиб! Вот это я называю сатирой! Это отпор! Это настоящий, заправский отпор!

Затем все на минуту смолкли и погрузились в думы. Как вдруг кто-то завыл:

– Куда мы идем? объясните, куда мы идем?

И все, словно ужаленные, вскочили с мест и подняли такой неизреченный лай, что я поскорее схватил шляпу и увлек Прокопа в «Старый Пекин».

Бифштекс и возвращение домой с песнями.

* * *

И еще два вечера провел я в обществе испуганных людей и ничего другого не слышал, кроме возгласа: куда мы идем? Но после пятого вечера со мной случилось нечто совсем необыкновенное.

Я проснулся утром с головною болью и долгое время ничего не понимал, а только смотрел в потолок. Вдруг слышу голос Прокопа: «Господи Иисусе Христе! да где же мы?»

Вскакиваю, оглядываюсь и вижу, что мы в какой-то совершенно неизвестной квартире; что я лежу на диване, а на другом диване лежит Прокоп. Мною овладел страх.

Я вспомнил слышанную в детстве историю о каком-то пустынножителе, который сначала напился пьян, потом совершил прелюбодеяние, потом украл, убил – одним словом, в самое короткое время исполнил всю серию смертных грехов.

– Где мы вчера были? – обратился я к Прокопу.

Но Прокоп стоял как бы в остолбенении и только пялил на меня свои опухшие глаза.

Я стал припоминать и с помощью невероятных усилий успел составить нечто целое из уцелевших в моем мозгу обрывков. Да, мы отправились сначала к Балабину, потом к Палкину, оттуда к Шухардину и, наконец, в «Пекин». Но тут нить воспоминаний оборвалась. Не украли ли мы в «Пекине» серебряную ложку? не убили ли мы на скорую руку полового? не вели ли нас на веревочке? – вот этого-то именно я и не мог восстановить в своей памяти.

Я припоминал, что со мною уже был почти такой же случай в молодости. В то время я был студентом Московского университета и охотно беседовал об искусстве (святое искусство!) в трактире «Британия». Однажды, находясь в хорошей компании, я выпил, рюмку за рюмкой, рублей на двадцать ассигнациями водки и, совершивши этот подвиг, исчез. Где я был? этого я совершенно не помню, но дело в том, что через какие-нибудь полчаса я опять воротился в «Британию», но воротился... без штанов! Можно себе представить, как изумило меня это обстоятельство, когда я, переночевав в «Британии» на бильярде, на другой день проснулся! И что ж оказалось? – что штаны мои преспокойно лежат у меня дома! Что я нарочно приходил домой, чтобы их снять, и, совершивши этот подвиг, отправился назад в «Британию»!

– Да каким же образом это случилось? Я говорил что-нибудь? Приказывал? – допрашивал я своего слугу.

– Ничего не изволили приказывать. Изволили прийти, сняли и опять ушли-с.

– Да что же я еще-то делал?

– Изволили прийти-с, сняли и опять ушли-с. Так вот на какие подвиги я способен...

И вдруг, в ту самую минуту, когда мне все это припоминалось, дверь нашей комнаты отворилась, и перед нами очутился расторопный малый в мундире помощника участкового надзирателя. Оказалось, что мы находимся у него на квартире, что мы ничего не украли, никого не убили, а просто-напросто в безобразном виде шатались ночью по улице.

– Каким же образом у вас-то мы очутились? – любопытствовал Прокоп.

– Да просто шел я, по должности, дозором-с; ну, вижу, благородные люди... не могут объяснить место жительства-с...

Никогда не бывало мне до такой степени стыдно...

III

Пользуясь моею нравственною рыхлостью, Прокоп завалил меня проектами, чтение которых чуть-чуть не нацело меня на мысль о самоубийстве. Истинно, только бог спас мою душу от конечной гибели... Но буду рассказывать по порядку.

Прежде всего, при одном воспоминании о моем последнем приключении мне было так совестно, что я некоторое время не мог подумать о себе, не покрасневши при этом. Посудите сами: приехать в Петербург, в этот, так сказать, центр российской интеллигенции, и дебютировать тем, что, по истечении четырех недель, очутиться, неведомо каким образом, в квартире помощника участкового надзирателя Хватова! Я взглянул на себя в зеркало – и ужаснулся: лицо распухло, глаза заплыли и даже потеряли способность делаться круглыми. С каким-то щемящим чувством безнадежности бродил я в халате из угла в угол по моему номеру и совершенно явственно чувствовал, как меня сосет. Именно «сосет» – и ничего больше. Если б кто-нибудь спросил меня, что со мною делается, я положительно ничего другого не нашелся бы ответить, кроме этого странного слова «сосет». Не то тоска, не то смутное напоминание об адмиральском часе. К довершению позора, в течение целой недели, аккуратно изо дня в день, меня посещал расторопный поручик Хватов и с самою любезною улыбкой напоминал мне о моем грехопадении. Придет, сядет, закурит папироску и начнет:

– Иду, знаете, дозором, и вдруг вижу – благородные люди! И можно сказать, даже в очень веселом виде-с! Время, знаете, ночное-с... местожительства объявить не могут... Ну-

с, конечно, как сам благородный человек... по силе возможности-с... Сейчас к себе на квартиру-с... Диван-с, подушки-с...

– То есть так я вам благодарен! так благодарен! – заверял я, в свою очередь, весь пунцовый от стыда, – кажется, умирать стану, а услуги вашей не забуду!

– Помилуйте! что же-с! благородные люди... время ночное-с... местожительства объявить не могут... диван, подушки-с...

И таким образом целых семь дней сряду. Придет, выкурит три-четыре папиросы, выпьет рюмку водки, закусит и уйдет. Под конец даже так меня полюбил, что начал говорить мне ты.

«Дедушка Матвей Иванович! – думалось мне в эти минуты, – воображал ли ты когда-нибудь, чтоб твой потомок мог покрыть себя подобным позором! Ты, который, выходя грузным из рязанско-козловско-тамбовского клуба, не торопясь влезал в экипаж, подсаживаемый верными слугами, и затем благополучно следовал до постоялого двора, где ожидали тебя и взбитая перина, и теплое пуховое одеяло! Ты, который о самом имени полиции знал только потому, что от времени до времени приходилось посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Ионку-подлеца в часть! Мог ли ты представить себе, что твой родной внук, как какой-нибудь беспаспортный мещанин, проведет целую ночь в самом сердце той самой полиции, о которой ты знал только понаслышке, как о вместилище клопов, блох и розог! Что этот внук будет поднят на улице (позор! у него нет ни экипажа, ни верных слуг, ни цуга лошадей!) и призрен, буквально призрен расторопным полицейским поручиком Хватовым! Что этот самый Хватов будет заявлять претензию на вечную признательность сердца со стороны твоего внука! что он будет прохаживаться с ним по водочке, и наконец, в минуту откровенности, скажет ему „ты“!

Позор!!

И вот, о реформы, горькие ваши плоды!

Каким же образом, после всего этого, утишить негодующее сердце? каким образом сдерживать благородные порывы? Реформы!!

Вот Прокоп – так тот мигом поправился. Очевидно, на него даже реформы не действуют. Голова у него трещала всего один день, а на другой день он уже прибежал ко мне как ни в чем не бывало и навалил на стол целую кипу проектов.

– Читать ли? – молвил я робко, – как бы опять не запить!

– Как не читать! надо читать! зачем же ты приехал сюда! Ведь если ты хочешь знать, в чем последняя суть состоит, так где же ты об этом узнаешь, как не тут! Вот, например, проект о децентрализации – уж так он мне понравился! так понравился! И слов-то, кажется, не приберешь, как хорошо!

– А что?

– Да чтобы, значит, везде, по всему лицу земли... по зубам чтоб бить свободно было... вот это и есть самая децентрализация!

Прокоп, по обыкновению своему, залился смехом. И черт его знает, что это за смех у Прокопа – никак понять не могу! Действительно ли звучит в нем ирония, или это только так, избыток веселонравия, который сам собой просится наружу? Вот, кажется, и хохочет человек над децентрализацией с точки зрения беспрепятственного и повсеместного битья по зубам, а загляните-ка ему в нутро – ан окажется, что ведь он и впрямь ничего, кроме этой беспрепятственности, не вожделеет! Вот и поди разбери, как это в нем разом укладывается: и тоска по мордобитию, и несомненная язвительнейшая насмешка над этою самою тоской!

– А уж ежели, – продолжал между тем Прокоп, – ты от этих проектов запьешь, так, значит, линия такая тебе вышла. Оно, по правде сказать, трудно и не запить. Все бить да сечь, да стрелять... коли у кого чувствительное сердце – ну просто невозможно не запить! Ну, а ежели кто закалился – вот как я, например, – так ничего. Большую даже пользу нахожу. Светлые мысли есть ей-богу!

Опять хохот, этот загадочный, расстраивающий нервы хохот!

Но так как у меня голова все еще была несвежа, то я два дня сряду просто-напросто пробродил из угла в угол и только искоса поглядывал на кипу писаной бумаги. А в груди между тем сосало, и бог знает каких усилий мне стоило, чтоб не крикнуть: водки и закусить! Воздержаться от этого клича было тем труднее, что у лакеев *chambres garnies*⁷⁷ есть привычка, и притом препоганая: поминутно просовывает, каналья, голову в дверь и спрашивает: что прикажете? Ну, что я могу приказать? Что могу я ответить на его вызывающий вопрос, кроме: водки и закусить! Вот дедушка Матвей Иванович – тот точно мог разные приказания отдавать, а я – что я могу?!

Однако, повторяю, бог спас, и, может быть, я провел бы время даже не совсем дурно, если б не раздражали меня, во-первых, периодические визиты поручика Хватова и, во-вторых, назойливость Прокопа. Помимо этих двух неприятностей, право, все было хорошо.

Я находился в том состоянии, когда голова, за несколько времени перед тем трещавшая, начинает мало-помалу разгуливаться. Настоящим образом еще ничего не понимаешь, но кое-какие мысли уж бродят. Подойдешь к печке – и остановишься; к окну подойдешь – и посмотришь. Что в это время бродит в голове – этого ни под каким видом не соберешь, а что бродит нечто – в том нет ни малейшего сомнения. По временам даже удастся иное схватить. Вот сейчас мелькнуло: хорошо бы двести тысяч выиграть – и ушло. Потом: какое это в самом деле благодеяние, что откупа уничтожены, – и опять ушло. Вообще, все приходит и уходит до такой степени как-то смутно, что ни встречать, ни провожать нет надобности. И вдруг канальская мысль: не приказать ли водки?

– Ну, нет, брат, шалишь! водка – это, брат, яд! Вспомни, как ты в „Старом Пекине“ чуть-чуть полового не ушиб и как потом в квартире у поручика Хватова розоперстую аврору встречал!

Ушло.

И проходят таким образом часы за часами спокойно, безмятежно, даже почти весело! Все бы ходил да мечтал, а о чем бы мечтал – и сам не знаешь! Вот, кажется, сейчас чему-то блаженно улыбался, по поводу чего-то шевелил губами, а через мгновение – смотришь, забыл! Да и кто знает? может быть, оно и хорошо, что забыл...

Вот что совсем уж нехорошо – это Прокоп, который самым наглым образом врывается в жизнь и отравляет лучшие, блаженнейшие минуты ее. Каждый день, утром и вечером, он влетает ко мне и начинает приставать и даже ругаться.

– Ну что, прочел?

– Да, право, душа моя, боюсь я...

– Что же ты после этого за патриот, коли не хочешь знать, в чем нынешняя суть состоит!

– Да запью я! чувствует мое сердце, что запью!

– Так ты помаленьку, не вдруг! Сперва „о децентрализации“, потом „о необходимости оглушения, в смысле временного усыпления чувств“, потом „о реформировании де сиянс академии“. Есть даже прожект „о наижелательнейшем для всех сторон упразднении женского вопроса“. Честью тебе ручаюсь: начни только! Пригубь! Не успеешь и оглянуться, как сам собой, без масла, всю грудку проглотить!

И я начал.

Но я приступил не вдруг. Сначала произвел наружный осмотр, причем оказалось, что все прожекты были коротенькие, на одном, много на двух листах. Потом перечитал заглавия и убедился, что везде говорилось об упразднении и уничтожении, и только один прожект трактовал о расширении, но и то – о расширении области действия квартальных надзирателей. Затем мною овладела моя обычная привычка резонировать по поводу выеденного яйца, и я уже на

⁷⁷ меблированные комнаты.

целые сутки сделался неспособным ни к каким дальнейшим исследованиям. Одни названия навели на меня какие-то необыкновенно тоскливые мысли, от которых я не мог отделаться ни насвистыванием арий из „Герцогини Герольштейнской“, ни припоминанием особенно характерных эпизодов из последних наших трактирных походов, ни даже закусыванием соленого огурца, каковое закусывание, как известно, представляет, во время загула, одно из самых дивных, восстанавливающих средств (увы! даже и это средство отыскано не мною, непризнанным Гамлетом сороковых годов, а все тем же дедушкой Матвеем Ивановичем!).

Во имя чего, думалось мне, волнуются и усердствуют из глубины своих усадеб отставные прапорщики, ротмистры, полковники? из-за чего напрягают мозги выгнанные из службы подьячие? что породило это ужаснейшее творчество, которым заражены российские грады и веси и печальный плод которого – вот эта груда прожектов, которую мне предстоит перечитать?

Вникните пристальнее в процесс этого творчества, и вы убедитесь, что первоначальный источник его заключается в неугасшем еще чувстве жизни, той самой „жизни“, с тем же содержанием и теми же поползновениями, о которых я говорил в предыдущих моих дневниках. Все мы: поручики, ротмистры, подьячие, одним словом, все, причисляющие себя к сонму представителей отечественной интеллигенции, – все мы были свидетелями этой „жизни“, все воспитывались в ее преданиях, и как бы мы ни отрешивались от нее, но не можем, ни под каким видом не можем представить себе что-либо иное, что не находилось бы в прямой и неразрывной связи с тем содержанием, которое выработано нашим прошедшим. Все мы хотим жить именно тем самым способом, каким жил дедушка Матвей Иванович, то есть жить хоть безобразно (увы! до других идеалов редкие из нас додумались), но властно, а не слоняться по белу свету, выпуча глаза.

Эта перспектива „слоняния“ раздражает нас. Был момент, когда мы искренно поверили, что в раскладывании гранпасьянса заключается единственно возможная, так сказать, провиденциальная роль наша в будущем. Был момент, когда мы не шутя ощутили, что почва ушла из-под ног наших и что нам остается только бежать, бежать и бежать. И теперь, при одном воспоминании об этом ужасном времени, скверно делается во рту. Но инстинкт самосохранения спас нас. Он заставил нас оглянуться и подумать. Оглянулись, подумали – видим: мы те же, да и кругом нас все то же. И мы „dansons, chantons et buvons“, и кругом нас „chantons, dansons et buvons“. Конечно, некоторые подробности изменились, но разве подробности когда-нибудь составляли что-нибудь существенное? Сегодня они имеют один вид, завтра – будут иметь другой. Если главная основа жизни не поколеблена, то нет ничего легче, как дать подробностям ту или другую форму – какую хочешь. Сегодня у нас – *la grandeur d'ame est a l'ordre du jour*,⁷⁸ а завтра – *alea jacta est*!⁷⁹ – на очереди будут: натиск и быстрота! Стало быть, ежели нам, отставным корнетам, ротмистрам и подьячим, показалось на минуту, что почва ускользает из-под наших ног, то это именно только показалось, а на самом деле ничего нового не произошло, кроме кавардака, умопомрачения, труса и т. д. Стало быть, надо только разъяснить, рассеять и затем – настоять. Мы трусили, как дети, сами не зная чего; мы призрачную жизнь, простую взбалмошную накипь, признали за нечто реальное и устойчивое. Нет! шалишь! Мы докажем миру, что все эти призраки можно рассеять совершенно просто и легко: тем же манием руки, каким и в прежние времена достославные наши предки рассеивали и расточали всякого рода дурные призраки!

Отсюда – понятное раздражение против тех, которые продолжают напоминать нам о „слонянии“. Как не раздражаться, если мы сами чуть-чуть не поверили этой провиденциальной роли и не обрекли себя на перспективу вечного слоняния? Надо же, наконец, дать почувство-

⁷⁸ величие души поставлено в порядок дня.

⁷⁹ жребий брошен!

вать заблуждающимся всю тщету их надежд! И вот, как плод этого раздражения – являются проекты об уничтожении и упразднении.

Сидят корнеты-землевладельцы в своих логовищах и немолчно скребут перьями. А так как для них связать две мысли – труд совершенно анафемский, то очень понятно, что творчество их, лишь после невероятных потуг, находит себе какое-нибудь выражение. Мысли, зарождающиеся в усадьбах, вдали от всяких учебных пособий, вдали от возможности обмена мыслей – ведь это все равно что мухи, бродящие в летнее время по столу. Поди собери их в одну кучу. Поэтому проводится множество бессонных ночей, портится громада бумаги, для того только, чтобы в конце концов вышло: на последнем я листочке напишу четыре строчки. Но чем малограмотнее человек, тем упорнее он в своих начинаниях и, однажды задумав какой-нибудь подвиг, рано или поздно добьется-таки своего. Вожделенные „четыре строчки“ несомненно будут написаны, и смысл их несомненно будет таков: уничтожить, вычеркнуть, воспретить...

В одно прекрасное утро корнет выходит к утреннему чаю и объявляет жене:

– А я, душа моя, сегодня проект свой кончил!

– Ну, и слава богу! Я знаю, ты ведь у меня умный!

– Однако и помучился-таки я над ним! Странно это: мы, русские, кажется, на все способны, а вот проекты писать – смерть!

Почему, однако, уничтожить, вычеркнуть, воспретить, а не расширить, создать, разрешить? Тайна этого обстоятельства опять-таки заключается в слишком страстном желании „жить“, в представлении, которое с этим словом соединено, и в неимении других средств удовлетворить этому представлению, кроме тех, которые завещаны нам преданием. И в счастья и в несчастья мы как-то равно нерассудительны и опрометчивы. Немного лет тому назад (это были дни нашего несчастья), когда мы находились под игом недоразумений, томительно замутивших нашу жизнь, мы не боролись, не отстаивали себя, а только унывали и выпускали жалобные стоны. Откуда? что? как нужно поступить? – мы ни о чем не спрашивали себя, а только чувствовали, что нас придавило какое-то горе. Теперь, когда случайные недоразумения случайно рассеялись, когда жажда жизни (наша жажда жизни!) получила возможность вновь вступить в свои права, мы опять-таки не хотим подумать ни о каком внутреннем перерабатывающем процессе, не спрашиваем себя: куда? как? что из этого выйдет? – а только чувствуем себя радостными и вследствие этого весело гогочем. Нас опять придавило, но на этот раз – придавила радость. Наша не выгорела – мы приникли; наша взяла – мы подняли голову. Мы инстинктом чувствуем, что наша взяла – и потому хотим начать жить как можно скорее, сейчас.

Но, спрашивается, возможно ли достигнуть нашего идеала жизни в такой обстановке, где не только мы, но и всякий другой имеет право заявлять о своем желании жить?

Дедушка Матвей Иванович на этот счет совершенно искренно говорил: жить там, где все другие имеют право, подобно мне, жить, – я не могу! Не могу, сударь, я стерпеть, когда вижу, что хам идет мимо меня и кочевряжится! И будь этот хам хоть размиллионер, хоть разоткупщик, все-таки я ему напому (действием, государь мой, напому, действием!), что телесное наказание есть удел его в этом мире! Хоть тысячу рублей штрафа заплачу, а напому.

Такова была дедушкина мораль, и я, с своей стороны, становясь на его точку зрения, нахожу эту мораль совершенно естественною. Нельзя жить так, как желал жить дедушка, иначе, как под условием полного исчезновения жизни в других. Дедушка это чувствовал всем нутром своим, он знал и понимал, что если мир, по малой мере верст на десять кругом, перестанет быть пустыней, то он погиб. А мы?!

Что дедушкина мораль удержалась в нас всецело – в этом нет никакого сомнения. Но – увы! – мы уже не знаем, как устраивается та пустыня, без которой дедушкина мораль падает сама собою. Секрет этот потерян для нас навсегда – вот почему мы колеблемся, путаемся и вилим. Прямо признать за „хамами“ право на жизнь – не хочется, а устроить таким образом, чтобы и волки были сыты и овцы целы, – нет умения. Нет выдержки, выработки, подго-

товки. Хорошо бы, конечно, такую штуку удрать, чтобы „хамы“ на самом деле не жили, а только думали бы, что живут; да ведь для этого надобно, во-первых, кой-что знать, а во-вторых, придумывать, взвешивать, соображать. А у нас первый разговор: „знать ничего не хочу!“ да „ни о чем думать не желаю!“ Скажите, возможно ли с таким разговором даже простодушнейшего из хамов надуть?

Естественно, что при такой простоте нравов остается только одно средство оградить свою жизнь от вторжения неприятных элементов – это, откинув все сомнения, начать снова бить по зубам. Но как бить! Бить – без ясного права на битье; бить – и в то же время бояться, что каждую минуту может последовать приглашение к мировому по делу о самовольном избиении!..

До какой степени для нас всякое думанье – нож вострый, это всего лучше доказал мне Прокоп.

– Послушай, мой друг, – говорю я ему на днях, – отчего это тебе так претит, что и другой рядом с тобой жить хочет?

– А по-твоему, как? по-твоему, стало быть, другой у меня изо рта куски станет рвать, а я молчи!

– Да ведь кусков много, мой друг! И для тебя куски, и для других тоже; ведь всех кусков один не заглотаешь!

– Ну, нет-с, это аттанде. Я свои куски очень хорошо знаю, и ежели до моего куска кто-нибудь дотронется – прошу не взыскать!

– Ах, все не то! Пойми же ты наконец, что можно, при некотором умении, таким образом устроить, что другие-то будут на самом деле только облизываться, глядя, как ты куски заглатываешь, а между тем будут думать, что и они куски глотают!

– Это как?

– То-то, душа моя, надобно сообразить, как это умеючи сделать! Я и сам, правду сказать, еще не знаю, но чувствую, что средства сыскать можно. Не все же разом, не все рассекать: иной раз следует и развязать потрудиться!

– Ну, это уж ты трудись, а я – слуга покорный! Думать там! соображать! Какая же это будет жизнь, коли меня на каждом шагу думать заставлять будут? Нет, брат, ты прост-прост, а тоже у тебя в голове прожекты... тово! Да ты знаешь ли, что как только мы начнем думать – тут нам и смерть?!

Так мы и расстались на том, что свобода от обязанности думать есть та любезнейшая привада, без которой вся жизнь человеческая есть не что иное, как юдоль скорбей. Быть может, в настоящем случае, то есть как ограждающее средство против возможности систематического и ловкого надувания (не ее ли собственно я и разумел, когда говорил Прокопу о необходимости „соображать“?), эта боязнь мысли даже полезна, но как хотите, а теория, видящая красоту жизни в свободе от мысли, все-таки ужасна!

Кто вникнет ближе в цикл понятий, наивным выразителем которых явился Прокоп, тот поймет, почему единственным надежным выходом из всех жизненных затруднений прежде всего представляется действие, обозначаемое словом „вычеркнуть“. Вычеркнуть легко, создать трудно – в этом разгадка той бесцеремонности, с которою мы приступаем к рассечению всевозможных жизненных задач.

Предположите, что в голове у вас завелась затея, что вы возлюбили эту затею и с жаром принялись за ее осуществление. Прибавьте к этому, пожалуй, что затея ваша в высшей степени женерозна, что она захватывает очень широко и что с осуществлением ее легко осчастливить целый мир. В деле затей, зарождающихся на нашей почве, такого рода предположения совсем не шаржа, потому что у нас исстари так заведено: затевать так уж затевать. Но затем все-таки следует вопрос: откуда эта затея явилась? составляет ли она плод предварительной жизненной подготовки или, по крайней мере, хотя теоретически сложившегося убеждения? Или, быть может, она пришла с ветру, затем, что у прочих так водится, так чтобы и нам не стыдно было в

людях глаза показать? Как ни придирчив кажется этот вопрос (когда дело идет о женерозных начинаниях, у нас даже вопросов никаких допускать не принято), но он далеко не праздный. Разрешите себе его, и вы разом получите возможность не только оценить по достоинству самую затею и исходный пункт, из которого она возникла, но и провидеть дальнейший процесс ее осуществления, со всеми ожидающими ее впереди колебаниями и неизбежным в конце концов фиаско.

Потребность в выработке новых форм жизни всегда и везде являлась как следствие не одного теоретического признания неудовлетворительности старых форм, но и реального недовольства ими. Имели ли мы, интеллигенция, повод быть недовольными этими старыми формами? – нет, говоря по совести, у нас даже повода к недовольству не существовало. Повторяю: наш кодекс жизни вполне исчерпывался формулой „chantons, dansons et buvons“ – а этой формуле не только не мешали старые порядки, но даже вполне ее обеспечивали. Но, может быть, нас заставляло задумываться соседство множества людей, которым старые порядки ни в каком случае не могли быть по нутру? Бесспорно, такое соседство существовало, но мы до такой степени мало думали о нем, что даже и теперь, когда несомненность соседства уже гораздо более выяснилась, мы все-таки продолжаем столь же мало принимать его в расчет, как и прежде. Если б это было иначе, разве мы обращались бы столь легкомысленно с словами: вычеркнуть, похерить, воспретить? Разве мы позволили бы себе считать их палладиумом всевозможных мероприятий? Ясно, стало быть, что соседство тут ни при чем, или, по крайней мере, что представление о нем никогда нас сознательно не тревожило. Наконец, еще третье предположение: быть может, в нас проснулось сознание абсолютной несправедливости старых порядков, и вследствие того потребность новых форм жизни явилась уже делом, необходимым для удовлетворения человеческой совести вообще? – но в таком случае, почему же это сознание не напоминает о себе и теперь с тою же предполагаемою страстною настойчивостью, с какою оно напоминало о себе в первые минуты своего возникновения? почему оно улетучилось в глазах наших, и притом улетучилось, не подвергаясь никаким серьезным испытаниям? Да, впрочем, в таких ли мы условиях воспитывались, которые могли бы серьезно породить в нас подобное сознание, составляющее, так сказать, венец нравственного и умственного развития человека?

Все эти соображения приводят к заключению очень печальному, но которое едва ли можно назвать неверным, а именно: что наша женерозность пришла к нам без особенно деятельного участия сознания. Это не женерозность, а просто желание куда-нибудь приткнуться от скуки и однообразия жизни и в то же время развлечь себя новым фасоном одежды. Мы сказали себе: пусть будет новый фасон, а что касается до результатов и применений, то мысль о них никогда с особенною ясностью не представлялась нам. Мы до такой степени не думали ни о каких результатах и применениях, что даже не задались при этом никакою преднамеренно-злостною мыслью, вроде, например, того, что новые фасоны должны только отводить глаза от прикрываемого ими старого содержания. Не было органической, кровной надобности в новых фасонах, следовательно, не было мысли и о том, что они могут чему-нибудь угрожать. А следовательно, не было надобности остерегаться или надуть. Самое негодование наше было ретроспективное, и явилось уже *post factum*, то есть тогда, когда новая пригонка начала производить эффекты, не вполне согласные с общим тоном жизни и с нашими интимными пожеланиями. Тогда только мы начали суетиться, ахать и извергать безграмотные проекты о необходимости возвратиться к системе заушения.

При таком легком отношении к исходному пункту новой жизненной деятельности возможно ли ожидать устойчивости и во всем дальнейшем ее развитии? Увы! если тут и была устойчивость, то это именно была только устойчивость легкомыслия. Сколько бы ни твердили нам, что разумный выход из известного положения, созданного хотя бы и внезапно, но тем не менее несомненно приобретшего право гражданства – это признать его со всеми есте-

ственными результатами, которые оно может дать, – разве мы, отставные прапорщики и подьячие, способны на такое признание?

Разве мы что-нибудь предвидели, что-нибудь призывали сознательно? Нет, мы только сию минуту узнали (да и то не можем разобрать, врут это или правду говорят), что наша затея, кроме нового фасона, включает в себе и еще нечто, а до сих пор мы думали, что это положительным образом только фасон. Да это фасон и есть; мы это дело так разумели, когда увлекались им и аплодировали ему; так хотим разуметь его и теперь. Все эти колебания и движения, на которые нам указывают как на следствие новых фасонов, – все это вздор, мираж, и ничего больше. А ежели они и впрямь, эти колебания, существуют, то из этого следует только, что новые фасоны надо отменить и возвратиться к старым. А то еще развивать! Что развивать? Фасоны-то развивать!

Рассуждая таким образом, отставные корнеты даже выходят из себя при мысли, что кто-нибудь может не понять их. В их глазах все так просто, так ясно. Новая форма жизни – фасон; затем следует естественное заключение: та же случайность, которая вызвала новый фасон, может и прекратить его действие. Вот тут-то именно и является как нельзя кстати на помощь, слово „вычеркнуть“, которое в немногих буквах, его составляющих, резюмирует все их жизненные воззрения.

И зато, посмотрите, какая изумительная краткость проявляется во всех этих плодах деревенского досуга! Лист, много два – и делу конец. Да и тут еще всякий беспристрастный читатель непременно почувствует не краткость, а прискорбное многословие. Всякий читатель совершенно ясно видит, что автор ничего другого не желает, кроме трех вещей: уничтожить, вычеркнуть, воспретить. Следовательно, взял бы лист бумаги, написал бы на нем эти три слова – и дело с концом. Зачем же он примешивает тут какого-то господина Токевяля (удерживаю фамилию этого писателя в том виде, как она является в плодах деревенских досугов⁸⁰) и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а из отечественных публицистов: академика Безобразова и кн. Мещерского? Очевидно, он делает это в обременение читателю, думая, что так будет фасонистее.

Эта многословная краткость приводила меня в отчаяние еще в то время, когда я процветал под сенью рязанско-козловско-саратовского клуба. Видеть человека, который напрягается, у которого на лбу жилы лопнуть готовы и из уст которого вылетает бессвязное бормотание с примесью Токевяля, Наполеона и кн. Мещерского, – может ли быть зрелище более прискорбное для сердца человека, сознающего себя патриотом! С каким-то ужасом думаешь: да неужели же мы и в самом деле не можем двух мыслей порядком переварить? И отчего не можем? оттого ли, что природа обошла нас своею благосклонностью, или оттого, что откупа уничтожены, и вследствие того подешевела водка? В каждой, в каждой-таки деревне кабак – как хотите, а тут хоть кого свалит! Разве „Токевиль“ в таких условиях писал свои прожекты? Разве Наполеон III заглядывал через каждые полчаса в буфет, когда диктовал свои мероприятия относительно расстреливания? А мы что делаем! Уж не потому ли у нас из всех реформ наиболее прочным образом привилась одна – это буфеты при земских собраниях?

Именно от этой многословной краткости, от этих раздражающих Токевилей и Бисмарков я бежал из провинции, и именно ее-то я и обрел опять в Петербурге. Все, что в силах что-нибудь деятельно напакостить, все, что не чуждо азбуке, – все это устремилось в Петербург, оставив на местах лишь гарнизон в тесном смысле этого слова, то есть людей, буквально могущих только хлопать глазами и таращить их...

Но Прокоп говорит, что и эти невдолге приедут.

⁸⁰ Токевиль положительно сделался популярнейшим из публицистов в наших усадьбах. Без него корнеты шагу ступить не могут, хотя знают его только по слухам и устным рассказам других корнетов. Думал ли когда-нибудь знаменитый автор «L'ancien regime et la Revolution» («Старый режим и революция». – Ред.), что сочинение его может послужить опорной точкой при составлении «прожекта об оглушении»? (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– Вот погоди немного, – предсказывает он, – зашевелятся и они! и Хлобыстовские приедут, и Дракины приедут – все прибегут!

Жутко, но должно сознаться, что пророчество Прокопа имеет некоторое основание. Я сам собственными ушами слышал, как на дебаркадере железной дороги один из Хлобыстовских коснеющим языком сказал:

– Гм... в Петербург... скоро... сейчас... фью!

Теперь для меня смысл этого бормотания совершенно ясен.

Ужели, однако ж, и сего не довольно? ужели на смену нынешней уничтожительно-консервативной партии грядет из мрака партия, которую придется уже назвать наиуничтожительнейше-консервативнейшею? А эта последняя партия, вследствие окончательной безграмотности и незнакомства с именем господина „Токевиля“, даже не даст себе труда писать проекты об уничтожении, а просто будет зря махать руками направо и налево?

* * *

Привожу здесь на выдержку несколько проектов, придерживаясь в этом случае указаний Прокопа.

О необходимости децентрализации

„Избегая вредного многословия, приступаю прямо. Известно, какие неудобства всегда и везде представляла излишняя централизация. Токевиль выражается о сем прямо: „Централизация есть зло“. Монтескью, подтверждая сие мнение, прибавляет: „Зло, с трудом поправимое даже деспотизмом“. Наконец, английский писатель Джон Стюарт выражается так: „Централизация есть остаток варварства“. Хотя же преосвященнейший Георгий Конисский, в приветственной речи покойной императрице Екатерине II, и говорит: „Солнце наше вокруг нас ходит, да мы в безмятежии почиваем“, но сие отнюдь не следует относить к централизации, но к собственному всякому верноподданному радостному чувству.

И действительно, не токмо во Франции, сей классической стране централизации, но и у нас на каждом шагу мы видим плоды сего горького порядка вещей. Благодаря оному, каких хлопот и издержек, например, стоило, дабы выиграть тяжбу в правительствующем сенате? сколько изнурений даже и дондесь нужно перенести, дабы получить в государственном банке какое-либо удовлетворение?

В первом случае необходимо было: во-первых, ехать в уездный город и нанимать прдьячего, который был бы искусен в написании просьб; во-вторых, идти в суд, подать просьбу и там одарить всех, начиная с судьи и кончая сторожем, так как, в противном случае, просьба может быть возвращена с надписанием; в-третьих, от времени до времени посылать секретарю деревенских запасов и писать ему льстивые письма; в-четвертых, в терпении стяжать душу свою. И вот, по истечении двух-трех лет, уездный суд дает наконец резолюцию, вроде той знаменитой, которая разрешила истцу „ловить в озере рыбу удою“. Тогда надо ехать в губернский город и подавать просьбу в гражданскую палату. И здесь нанимать искусного подьячего, и здесь поголовно всех одарить, и здесь посылать деревенский запас (при расстоянии уже значительно большем) и писать льстивые письма секретарям. Наконец, года через три, издает палата резолюцию, которою тоже разрешается „ловить в оном озере рыбу удою“. Тогда надобно направлять стопы в сенат, где, по дальности расстояний, подьячие деревенскими запасами уже не берут, а берут чистыми деньгами.

Во втором случае, ежели вы, например, имеете в банке вклад, то забудьте о своих человеческих немощах и думайте об одном: что вам предназначено судьбою ходить. Кажется, и расписка у вас есть, и все в порядке, что следует, там обозначено, но, клянусь, раньше двух-трех дней процентов не получите! И объявления писать вам придется, и расписываться, и с

сторожем разговаривать, и любоваться, как чиновник спичку зажечь не может, как он папироску закуривает, и наконец стоять, стоять и стоять!

Таковы плоды централизации! Прах друга своего схоронить невозможно, предварительно не расстроив своего здоровья и не раздав пол-имения своего извозчикам!

Наши заатлантические друзья давно уже сие поняли, и Токевиль справедливо говорит: „В Америке, – говорит он, – даже самый простой мужик и тот давно смеется над централизацией, называя ее никуда не годным продуктом гнилой цивилизации“. Но зачем ходить так далеко? Сказывают, даже Наполеон III нередко в последнее время о сем поговаривал в секретных беседах с господином Пиетри.

И для чего таковое непосильное изнурение обывателей? для того ли, чтобы власть от того возвеличивалась и, возвеличиваясь, предъявляла благодетельные свои для управляемых насильства?

Нет! власть немотствует, а государственный банк, тиранствуя над своими клиентами, нисколько сим не возвеличивается!

Токевиль говорит: „Бесполезное тиранство никогда пользы принести не может“.

Обыватель не может своевременно процентов получить, а зло накапливается, распространяет крыле свои, поднимает голову и в конце концов образует гидру! Обыватель тщетно рассчитывает льстивые уверения перед сонмищем секретарей, стараясь убедить их в правоте имущественного своего иска, а зло между тем рыщет и останавливается лишь для того, чтобы выкопать бездну! Зло счастливо и беспечно: оно не получает процентов и не имеет имущественных процессов!

Примеров такого расслабленного состояния власти множество. Приведу два или три.

В селе проживает поповский сын и открыто проповедует безначалие. По правилам централизации, надлежит в сем случае поступить так: начать следствие, потом представить оное на рассмотрение, потом, буде найдены будут достаточные поводы для суждения, то нарядить суд. Затем, суд немедленно оправдывает бунтовщика, и поповский сын, как ни в чем не бывало, продолжает распространять свой яд!

Другой пример: крестьянские гуси потравили помещичий овес. По правилам централизации, помещик, для восстановления нарушенного права собственности, поступает так: во-первых, по незнанию законов, обращается в волостной суд. Там ему отказывают на том основании, что волостные суды ведают лишь дела крестьян между собою. Делать нечего, велит помещик закладывать лошадей и, по незнанию законов, отправляется за двадцать, за тридцать верст искать правосудия к мировому посреднику. Сей, тоже по незнанию законов, принимает просьбу, но через две недели, посоветовавшись с своим письмоводителем, объявляет просителю, что ныне уже порядки не те, и направляет его к мировому судье. Тем временем овес вырос вновь, а свидетели преступления, не будучи обязаны подпиской о невыезде, разбрелись по сторонам. Руководясь сими данными и к тому же будучи филантропом, судья пишет отказ и взыскивает с просителя издержки!

Какое сердце не обольется кровью при виде сего!

Тогда как при децентрализации и поповский сын, распространяющий безначалие, и крестьяне, попустившие своим гусям наносить ущерб помещичьему хозяйству, давно были бы наказаны, и самое свидетельство о содеянных ими преступлениях соделалось бы достоянием истории!

Известный криминалист Сергей Баршев говорит: „Ничто так не спасительно, как штраф, своевременно налагаемый, и ничто так не вредно, как безнаказанность“.⁸¹ Святая истина!

⁸¹ Напрасно мы стали бы искать этой цитаты в сочинениях бывшего ректора Московского университета. Эта цитата, равно как и ссылки на Токевиля, Монтескье и проч., сделаны отставным корнетом Толстолобовым, очевидно, со слов других отставных же корнетов, наслышавшихся о том, в свою очередь, в земских собраниях. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Но что же необходимо учинить, дабы ввести сию многожелаемую и спасительную децентрализацию? На сие отвечу прямо: необходимо прежде всего вооружить власть.

Можно ли назвать власть вооруженною, если, для достижения ее, необходимо ехать за тридцать, за сорок верст, но и тут трепетать, что попадешь не туда, куда надлежит, или же что власть взглянет на все сие иронически, или отзовется неимением средств и указаний?

Можно ли назвать власть вооруженною, ежели, даже при искреннем желании помочь ближнему, она на каждом шагу стеснена всякого рода сомнительностями и пагубным формализмом?

Можно ли назвать власть вооруженною, ежели злу, для того чтобы быть безнаказанным, стоит только поселиться подальше от становой квартиры?

Токевиль справедливо отвечает на сие: невозможно.

А между тем, при нынешней централизации, власть именно находится в сем беспомощном и, так сказать, ироническом состоянии.

Губернаторы стеснены судами, палатами, общими присутствиями. Ищут преданности и находят одно противоречие.

Исправники лишены права поступать по обстоятельствам и, не имея прочной руководящей нити, совсем никак не поступают.

Становые пристава до такой степени опутаны сетями начальственных предписаний, что вскоре самую жизнь за тягость себе почитать будут.

О дворянах-землевладельцах — умолчу.

Все жалуются и вопиют; везде говорят о власти, везде ищут сего надежного убежища и, за всем тем, не токмо не приближаются к оному, но, в похвальном стремлении всех осчастливить, постепенно все больше и больше от здравого смысла отдаляются!

И сие все при наших обширных, можно сказать, даже непреодолимых пространствах!!

А между тем, как говорит бессмертный наш баснописец Крылов: ведь ларчик просто открывался!!!

Будучи одарен многолетнею опытностью и двадцать пять лет лично управляя моими имениями, я много о сем предмете имел случай рассуждать, а некоторое даже и в имениях моих применил. Конечно, по малому моему чину, я не мог своих знаний на широком поприще государственности оказать, но так как ныне уже, так сказать, принято о чинах произносить с усмешкой, то думаю, что и я не худо сделаю, ежели здесь мои результаты вкратце попытаюсь изложить. Посему соображаю так:

Для того, чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть.

Для того же, чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализовать.

Затем, уже руководствуясь такими соображениями, предлагаю:

1) Губернаторов назначать везде из местных помещиков, яко знающих обстоятельства. Чинами при сем не стесняться, хотя бы был и корнет, но надежного здоровья и опытен.

2) По избрании губернатора, немедленно оного вооружить, освободив от всяких репортов, донесений, а тем более от советов с палатами и какими-либо присутствиями.

3) Ежели невозможно предоставить губернатору издавать настоящие законы, то предоставить издавать правила и отнюдь не стеснять его в мероприятиях к искоренению зла.

4) На каждых пяти верстах поставить особенного дистанционного начальника из знающих обстоятельства местных землевладельцев, которого также вооружить, с предоставлением искоренять зло по обстоятельствам.

5) Дистанционному начальнику поставить в обязанность быть праздным, дабы он, ничем не стесняясь, всегда был готов принимать нужные меры.⁸²

⁸² Пользу от сего я испытал собственным опытом. Двадцать пять лет я проводил время в праздности, а имения мои были

6) Уезды разделить на округа (по четыре на уезд), и в каждом округе учредить из благонадежных и знающих обстоятельства помещиков особливую комиссию, под наименованием: „комиссия для исследования благонадежности“.

7) Членам сих комиссий предоставить: а) определять степень благонадежности обывателей; б) делать обыски, выемки и облавы, и вообще испытывать; в) удалять вредных и неблагонадежных людей, преимущественно избирая для поселения места необитаемые и ближайšie к Ледовитому океану;

и 8) В вознаграждение трудов положить всем сим лицам приличное и вполне обеспечивающее их содержание.

Излагая все сие, не ищу для себя почестей, но буду доволен, ежели за все подъятые мною труды предоставлено мне будет хотя единое утешение утешение сказать: „И моего тут капля меду есть“.

Отставной корнет Петр Толстолобов.

* * *

– Ну, что? каково? – пристал ко мне в тот же вечер Прокоп. – да что ж... хорошо-то хорошо... только вот насчет Америки как-то сомнительно...

– А ну ее, Америку! Главное дело – децентрализация чтоб была... Согласен ты, что централизация – вред?

– Вред-то вред... что и говорить!

– Ну, а ежели вред, стало быть, как следует, по-твоему, поступить?

– А черт его знает, как оно там...

– То-то же вот и есть!

– Вот тоже: какой-то „английский писатель Стюарт“... черт его знает, кто он таков! Ну, да и Токевиль... воля твоя, а вряд ли он так говорил!

– Что? Токевиль-то? Да я от Петра Иваныча Дракина сам своими ушами слышал, что именно это самое у него в книжке написано! А уж если Петру Иванычу не поверить – кому же и верить?

– Н-нда... а все-таки как-то... На каждых пяти верстах по помещику, и все такое... Черт знает что!

– А я про что же говорю! Именно: черт не разберет! Ты сообрази только, какое мордобитие-то пойдет – любо!

И Прокоп залился таким раздражающим смехом, что я несколько секунд стоял как ошеломленный. Передо мной вдруг совершенно отчетливо встала вся картина децентрализации по мысли и сердцу отставного корнета Толстолобова...

Это было ужасное зрелище...

Не было ни судов, ни палат, ни присутствий – словом сказать, ничего, чем красна современная русская жизнь. Была пустыня, в которой реяли децентрализованные квартальные надзиратели из знающих обстоятельства помещиков.

Бьют, испытывают и ссылают. Потом наскоро подкрепляют силы холодными закусками и водкой и опять бьют, испытывают и ссылают.

Нет ни сапожников, ни портных, ни музыкантов, ни литераторов, ни ученых, ибо всех испытывают. Все кому-нибудь когда-нибудь нагрубили, за всеми есть какой-нибудь счетец, и потому все подлежат исследованию.

Обьятый ужасом, я инстинктивно схватился за графин и сразу выпил десять рюмок очищенной.

* * *

Другой проект.

О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств

„Новоявленный публицист, кн. В. Мещерский, говорит справедливо: реформы необходимы, но не менее того необходимы и знаки препинания. Или, говоря иными словами: выпустил реформу – довольно, ставь точку; потом, спустя время, опять выпустил реформу и опять точку ставь. И так далее, до тех пор, пока не исполнятся неисповедимые божий пути.

С своей стороны, скажу более: не одну, а несколько точек всякий раз ставить не мешало бы. И не непременно после реформы, но и в другое, свободное от реформ, время.

Одно не вполне ясно: каким образом все сие исполнить? В теоретичной принципиальности сия мысль совершенно верна, но в практичной удовлетворительности она далеко не представляется столь же ясною и удобоприменимою.

Что такое реформа? Реформа есть такое действие, которое человеческим страстям сообщает новый полет. А коль скоро страсти получили полет, то они летят – это ясно. Не успев оставить гавань одной реформы, они уже видят открывающуюся вдали гавань другой реформы и стремятся к ней. Вот здесь-то именно, то есть на этом-то пути стремления от одной реформы к другой, и следует, по мысли кн. Мещерского, употреблять тот знак препинания, о котором идет речь. Возможно ли это?

Возможно; но дабы получить в сем случае успех, необходимо предварительно привести страсти в некоторое особое состояние, которое поставило бы их в невозможность препятствовать постановке точек. Ибо, в противном случае, они всенепременно тому воспрепятствуют.

Страсти почувствовали силу и получили полет – возможно ли, чтоб они, чувствуя себя сильными, равнодушно взглянули, как небольшое количество благонамеренных людей будут ставить им точки? И опять, какие это точки? Ежели те точки, кои обыкновенно публицисты в сочинениях своих ставят, то разве великого труда стоит превратить оные в запятые, а в крайнем случае и совсем выскоблить?

Стало быть, прежде всего надо ослабить силу страстей, а потом уже начать ставить точки, и притом не такие, которые можно бы выскоблить, а настоящие, действительные.

Удобнее всего это достигается посредством так называемого оглушения.

Многие восстают против этой системы, находя ее недостаточно человеколюбивою и прогрессивною. Но это говорят люди, которые, очевидно, знакомы с системой поверхностно или по слухам. Я же, напротив того, утверждаю: оглушение не токмо не противно либерализму, но и составляет необходимейшее от оного отдохновение.

Токевиль говорит: "Так называемое оглушение не только не противно человеческой природе, но в весьма многих случаях даже способствует восстановлению человеческих сил". А за Токевилем эту истину уже повторяют ныне все английские публицисты.

С физической стороны, оглушение причиняет боль – это правда. Но с нравственной оно успокаивает и сберегает слишком легко издерживающиеся силы. Да разве необходимо, чтоб оглушение имело характер непременно физический? разве невозможно оглушение умственное и нравственное?

Что зло повсюду распространяет свои корни – это ни для кого уже не тайна. "Люди обыкновенно начинают с того, что с усмешкой отзываются о сотворении мира, а кончают тем, что не признают начальства. Все это делается публично, у всех на глазах, и притом с такою самоуверенностью, как будто устав о пресечении и предупреждении давно уже совершил течение свое. Что могут в этом случае сделать простые знаки препинания?"

Опасность так велика, что не только запятые, даже точки не упразднят ее. Наполеон I на острове Св. Елены говорил: "Чем сильнее опасности, тем сильнее должны быть употреблены средства для их уврачевания". Под именем сих "сильнейших средств" что разумел великий человек? Очевидно, он разумел то же, что разумею и я, то есть: сперва оглуши страсти, а потом уже ставь точку, хоть целую страницу точек.

Но дабы оглушение не противоречило идеям современного человеколюбия, необходимо, чтобы оно имело характер преимущественно нравственный.

Ежели я человека, посредством искусно комбинированной системы восприятий и сокрытий, отвлеку от предметов, кои могут излишне пленять его любознательность или давать его мысли несвоевременный полет, то этим я уже довольно много сделаю. Но "довольно много" еще не значит "все". Человек, лишенный средств питать свой ум, впадет в дремотное состояние – но и только. Самая дремота его будет ненадежная и, при первом нечаянном послаблении системы сокрытий, превратится в бдение тем более опасное, что, благодаря временному оглушению, последовало сбережение и накопление умственных сил.

Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденное, но имело характер деятельный и искренний.

Если, например, приучить молодых людей к чтению сонников, или к ежедневному рассмотрению девицы Гандон (сам не видел, но из газет очень довольно знаю), или же, наконец, занять их исключительно вытверживанием азбуки в том первоначальном виде, в каком оную изобрел Таут, то умы их будут дремотствовать, но дремотствовать деятельно.

Предавшись чтению сонников, молодые люди будут ожидать от сего исполнения желаний. Одолев Таутову азбуку, они преисполнятся сладкой уверенности, что назначение человеческой жизни ими совершено сполна. О девице Гандон – уже не говорю. Во всех сих упражнениях, очевидно, будет участвовать страсть, но страсть спасительная, имеющая в предмете отличаться в изучении сюжетов безопасных и малополезных, как, например, эфиопского языка. И таким образом получится поколение дремотствующее, но бодрое и не только не препятствующее знакам препинания, но деятельно на постановку их согласное.

При таковом согласии реформы примут течение постепенное и вполне правильное. При наступлении благоприятного времени, начальство, конечно, и без сторонних побуждений, издаст потребную по обстоятельствам реформу, но она уже будет встречена без сомнения, ибо всякому будет известно, что вслед за тем последуют года, кои имеют быть употреблены на то, чтобы ставить той реформе знаки препинания. Что, кроме системы нравственного оглушения, может дать такой, превышающий всякие ожидания, результат?

Будучи вынужден, по неприятностям, оставить службу и проживая в своей чухломской усадьбе, я имел возможность много о сем предмете рассуждать и даже меняться мыслями с некоторыми уважаемыми соседями, и все мы пришли к заключению: Токевиль прав.

Законов издавать – права не имею; но преподавать нечто к изданию таковых – могу.

С горестью покинул службу; с радостью вновь возвратился бы в лоно оной; но удостоюсь ли сего по трудным и превратным нынешним обстоятельствам настоящим образом предсказать не могу.

Но ежели бы сей мой прожект оказался почему-либо неудобным – могу написать другой, более удобный".

*Бывший штатный смотритель чухломских училищ
титულлярный советник Иван Филоверитов.*

"P. S. Многие из сверстников моих давно уже архиереями; я же вынужден взяться за плуг. А у нас, в Чухломе, и овес никогда более как сам-третей не родится!!"

* * *

Я был унижен, оскорблен, раздражен...

Вот, думалось мне, ни образования, ни привычки мыслить, ни даже умения обращаться с человеческою речью – ничего у этого человека нет, а между тем какую ужасную, ехидную мерзость он соорудил! И как свободно, естественно созрела она в его голове! Ни разу не почувствовал он потребности проверить себя, или посоветоваться с своею совестью, или, наконец, хоть из чувства приличия, сослаться на какие-нибудь факты. Нет; он имел в виду только одно: что ему предстоит сочинить пакость и что измышление его, яко пакостное, непременно найдет себе прозелитов.

Выскажи он мысль сколько-нибудь человеческую – его засмеют, назовут блаженньким, не дадут проходу. Но он явился не с проектом о признании в человеке человеческого образа (это был бы не проект, а опасное мечтание), а с проектом о превращении человеческих голов в стенобитные машины – и нет хвалы, которую не считалось бы возможным наградить эту гнилую отрывку старой канцелярской каверзы, не нашедшей себе ограничения ни в совести, ни в знании.

Филоверитов стоял передо мной, как живой. Длинный, змееобразный, он взвивался, складывался пополам, ползал. Голос у него был детский, плачущий, на глазах дрожали слезы крокодила. И он так вкрадчиво смотрел на меня этими глазами, как будто говорил: а хочешь, мой друг, я засажу тебя за эфиопские спряжения?

А что, если в саамом деле мне ничего отныне не дадут читать, кроме сонников? Что, если ко мне приставят педагога, который неупустительно начнет оболванивать меня по части памятников эфиопской письменности?

Нет! надобно все это забыть!

Но как забыть – вот вопрос! Куда бежать, где скрыться от его вездесущия! На улице, в трактире, в клубе, в гостиной – оно везде или предшествует вам, или бежит по пятам. Везде оно гласит: уничтожить, вычеркнуть, запретить!

Корнет Толстолобое скользнул по поверхности; чухломец Филоверитов прямо пронизал взором вглубь. В проекте Толстолобова чересчур много блеску; он обращает слишком мало внимания на человеческую жизнь, он слишком охотно ею жертвует. Шутка сказать! населить поморье Ледовитого океана людьми, оказавшимися, по испытании, неблагонадежными! Это, наконец, даже непрактично! Напротив того, Филоверитов прост и скромен до крайности; он смотрит на человеческую жизнь как на драгоценнейший дар творца и потому говорит: живи, но пребудь навсегда дураком! Не блестяще... но как практично!

Но ежели нельзя забыть об этих прожектах, то, во всяком случае, надобно их сжечь!

Я схватил всю кипу и с каким-то диким ожесточением бросил ее в камин. С наслаждением следил я, как сначала повалил из-под кипы густой, черный дым; как отдельные листы постепенно свертывались, корбились и бурели; как ОГОНЬ, долгое время не будучи в состоянии осилить брошенную в него массу бумаги, только лизал ее края; как, наконец, он вдруг прорвался сквозь самый центр массы и разом обхватил ее.

О, ужас! все проекты, один за другим, горели и уничтожались, но один оставался нетленным!

Напрасно огонь напрягал свои усилия, напрасно я сам, вооружившись щипцами, пихал бумагу в самую глубь камина; лист лежал чистый, невредимый, безмятежный, точь-в-точь как лежал он за пять минут перед тем у меня на письменном столе!

Очевидно, тут было какое-то указание, которому я, скрепя сердце, должен был повиноваться...

* * *

Я прочитал следующее:

О переформировании де сиянс академии

"С юных лет получил я сомнение в пользе наук, а затем, постепенно произрастая, все более и более в том сомнении утверждался, так что ныне, находясь в чине подполковника и с 1807 года в отставке, даже не за сомнение, а уже за верное для себя оное почитаю.

Вращаясь между людьми всякого звания, я всегда примечал, что лишь те из них вполне благополучны, кои держат себя в довольном от наук расстоянии. Беспечная веселость лица, любезная простота нравов и иройство в телесных упражнениях – вот качества, отличающие истинного сына природы. Обладая сим неоцененным сокровищем, простодушный поселянин смело может считать свой жребий более счастливым, нежели даже вельможа, отягченный добычей и преступлениями. Причина же сему явная та: не зная наук, поселянин о многом не догадывается, а многого и совсем не понимает. Напротив того, вельможа всего допытывается, но, не всегда будучи рассудительным, зачастую попадает совсем не в тот пункт, куда метить надлежит. И, вследствие того, приходит в меланхолию, а со временем и в истощение сил.

Посему, самым лучшим средством достигнуть благополучия почиталось бы совсем покинуть науки, но как, по настоящему развращению нравов, уже повсеместно за истину принято, что без наук прожить невозможно, то и нам приходится с сею мыслью примириться, дабы, в противном случае, в военных наших предприятиях какого ущерба не претерпеть. Как ни велико, впрочем, сие горе, но и оное можно малым сделать, ежели при сем, смотря по обширности и величию нашего отечества, соблюдено будет:

Первое, чтобы науки наши против всех прочих были превосходнее;
и второе, чтобы оные подлинно распространяли свет, а не тьму.

Но здесь представляется весьма щекотливый вопрос: как сего достигнуть?

На сие отвечаю кратко: посредством заведения таких учреждений, которые имели бы в предмете не распространение наук, но тщательное оных рассмотрение.

Казалось бы, что с сею именно целью учреждена в С.-Петербурге известная де сиянс академия, но ежели и была такова цель ее учреждения, то сколь много она от оной отделилась!

Вместо того чтобы рассматривать науки, академия де сиянс отчасти распространяла их, отчасти же пребывала к ним равнодушною!

Причина такового упущения двоякая:

Во-первых, члены де сиянс академии, будучи в большей части из немцев, почитают для себя рассмотрение наук за нестерпимое и несносное.

Во-вторых, при обширных пространствах, занимаемых нашим отечеством, члены де сиянс академии не в силах уследить за возникающими в уездах и волостях науками, а равным образом, не имея никаких начальственных отношений к капитанисправникам, не могут и сих последних уполномочить на то.

Очевидно, что пока сии две причины не будут устранены, дело останется все в прежнем положении!

А что положение сие нестерпимо, в том свидетельствуют три вещи:

1) В каждом селении заведен кабак, а в некоторых по два и по три.

2) На днях в Хвалынской губернии, как свидетельствует газета "Гражданин", одна дочь оставила одного отца, дабы беспрепятственнее предаться наукам.

и 3) На днях, при моих глазах, дочь одного почтенного генерала резала лягушку и надеялась получить от сего результат.

Все таковые факты внушили мне особливую некоторую мысль, развитие которой яснее выражается из следующих пунктов.

1. Цель учреждения, академий

В столичном городе С.-Петербурге учреждается особливая центральная де сиянс академия, назначением которой будет рассмотрение наук, но отнюдь не распространение оных.⁸³

С тою же целью, повсеместно, по мере возникновения наук, учреждаются отделения центральной де сиянс академии, а так как ныне едва ли можно встретить даже один уезд, где бы хотя о причинах частых градобитий не рассуждали, то надо прямо сказать, что отделения сии или, лучше сказать, малые сии де сиянс академии разом во всех уездах без исключения объявятся.

Академиям сим, для большего удобства в предстоящих им действиях, прежде всего поставлено будет в обязанность определить:

2. Что такое в науках свет?

Мнения по сему предмету разделяются на правильные и неправильные, а в числе последних есть даже много таких, кои, по всей справедливости, могут считаться дерзкими.

Дабы предотвратить в столь важном предмете всякие разногласия, всего натуральнее было бы постановить, что только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Во-первых, правило сие вполне согласуется с показаниями сведущих людей и, во-вторых, устанавливает в жизни вполне твердый и надежный опорный пункт, с опубликованием которого всякий, кто, по малодушию или из хвастовства, вздумал бы против одного преступить, не может уже сослаться на то, что он не был о том предупрежден.

3. Какие люди для рассмотрения наук наиболее пригодны суть?

Люди свежие и притом опытные.

Как сказано выше, главная задача, которую науки должны преимущественно иметь в виду, — есть научение, каким образом в исполнении начальственных предписаний быть исправным надлежит. Таков фундамент. Но дабы в совершенстве таковой постигнуть, нет надобности в обременительных или прихотливых познаниях, а требуется лишь свежее сердце и не вполне поврежденный ум. Все сие, в свежем человеке, не токмо налицо имеется, но даже и преизбыточествует.

Посему, как в президенты де сиянс академий, так и в члены оных надлежит избирать благонадежных и вполне свежих людей из местных помещиков, кои в юности в кадетских корпусах образование получили, но от времени все позабыли.

Примечание. Президентом следует избирать человека, хотя и преклонных лет, но лишь бы здоровый ум был.

4. Что от сего произойти может?

Следующее:

Прежде нежели свежий человек приступит к рассмотрению наук, он постарается припомнить, в каком виде преподавались оные ему в кадетском корпусе. Убедившись затем, что в его время науки имели вид краткий, он, конечно, оком несколько изумленным взглянет на бесчисленные томы, кои после того произошли. Во-первых, увидит он, что хрестоматии появились новые и притом такие, в коих заключаются зачатки революции. Во-вторых, что появилось множество наук, о коих в кадетских корпусах даже в упоминении не бывало (в особенности одна из них вредная и, как распространительница бездельных мыслей, весьма даже пагубная, называемая "Психологией"). Третье, наконец, что партикулярные люди о таких материях явно размышляют, о которых в прежнее время даже генералам не всегда размышлять дозволялось.

В виду сего, как он поступит?

Не знаю, как другие, но я поступил бы прямо и откровенно, то есть сказал бы: все сие навсегда прекратить!

⁸³ О составе и занятиях сей центральной академии умалчиваю, предоставляя устройство сего вышнему начальству. Скажу только, что заведение сие должно быть обширное. [Примечание составителя проекта.]

А кто же, кроме вполне свежего человека, может таким образом поступить?

5. О пределах власти де сиянс академий

Пределы власти де сиянс академий надлежит сколь возможно распространить.

Везде, где присутствуют науки, должны оказывать свою власть и де сиянс академии. А как в науках главнейшую важность составляют не столько самые науки, сколько действие, ими на партикулярных людей производимое, то из сего прямо явствует, что ни один обыватель не должен мнить себя от ведомства де сиянс академии свободным. Следственно, чем менее ясны будут границы сего ведомства, тем лучше, ибо нет ничего для начальника обременительнее, как ежели он видит, что пламенности его положены пределы.

6. О правах и обязанностях президентов де сиянс академий

Президенты де сиянс академий имеют следующие права:

1) Некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметит раскаяния, то отменять навсегда.

2) В остальных науках вредное направление переменять на полезное.

3) Призывать сочинителей наук и требовать, чтобы давали ответы по сущей совести.

4) Ежели даны будут ответы сомнительные, то приступать к испытанию.

5) Прилежно испытывать обывателей, не заражены ли, и в случае открытия таковых, отсылать, для продолжения наук, в отдаленные и малонаселенные города.

и 6) Вообще распоряжаться так, как бы в комнате заседаний де сиянс академии никого, кроме их, президентов, не было.

Обязанности же президентов таковы:

1) Действовать без послабления.

и 2) От времени до времени требовать от обывателей представления сочинений на тему: "О средствах к совершенному наук упразднению, с таким притом расчетом, чтобы от сего государству ущерба не произошло и чтобы оное, и по упразднении наук, соседей своих в страхе содержало, а от оных почитаемо было, яко всех просвещением превзошедшее".

7. Об орудиях власти президента

Ближайшие орудия президента суть члены де сиянс академии.

Права их следующие:

1) Они с почтительностью выслушивают приказания президента, хотя бы оные и не ответствовали их желаниям.

2) По требованию президента являются к нему в мундирах во всякое время дня и ночи.

3) При входе президента встают с мест стремительно и шумно и стоят до тех пор, пока не будет разрешено принять сидячее положение. Тогда стремительно же садятся, ибо время начать рассмотрение.

4) Ссор меж собой не имеют.

5) В домашних своих делах действуют по личному усмотрению, причем не возбраняется, однако ж, в щекотливых случаях обращаться к президенту за разъяснениями.

6) Наружность имеют приличную, а в одежде соблюдают опрятность.

7) Науки рассматривают не ослабляючи, но не чиня по замеченным упущениям исполнения, обо всем доносят президенту.

8) Впрочем, голоса не имеют.

После того, в качестве орудий же, следуют чины канцелярии, кои пребывают в непрерывном писании. Права сих чинов таковы:

1) Они являются к президенту по звонку.

2) Рассматривать науки обязанности не имеют, но, услышав нечто от посторонних людей, секретно доводят о том до сведения президента.

3) Бумаги пишут по очереди; написав одну, записывают оную в регистр, кладут в пакет и, запечатав, отдают курьеру для вручения; после того зачинают писать следующую бумагу и так далее, до тех пор, пока не испишут всего.

4) Голоса не токмо не имеют, но даже рта разинуть не смеют.

и 5) Относительно почтительности, одежды и прочего поступают с такою же пунктуальностью, как и члены.

Кроме сего, в распоряжении президента должна быть исправная команда курьеров.

8. О прочем

Что касается прочего, то оное объявится тогда, когда де сиянс академии, в новом своем виде, по всему лицу российския державы действие возымеют. Теперь же присовокупляю, что ежели потребуется от меня мнение насчет мундиров или столовых денег, то я во всякое время дать оное готов".

Отставной подполковник Дементий Сдаточный.

* * *

Я прочитал до конца, но что после этого было – не помню. Знаю, что сначала я ехал на тройке, потом сидел где-то на вышке (кажется, в трактире, в Третьем Парголове), и угощал проезжих маймистов водкой. Сколько времени продолжалась эта история: день, месяц или год, – ничего неизвестно. Известно только то, что забыть я все-таки не мог.

IV

Не знаю, как долго я после того спал, но, должно быть, времени прошло не мало, потому что я видел во сне целый роман.

Но, прежде всего, я должен сказать несколько слов о сновидениях вообще.

В этом отношении жизнь моя резко разделяется на две совершенно отличные друг от друга половины: до упразднения крепостного права и после упразднения оного.

Клянусь, я не крепостник; клянусь, что еще в молодости, предаваясь беседам о святом искусстве в трактире "Британия", я никогда не мог без угрызения совести вспомнить, что все эти пунши, глинтвейны и лампопо, которыми мы, питомцы нашей а́ма матер,⁸⁴ услаждали себя, все это приготовлено руками рабов; что сапоги мои вычищены рабом и что когда я, веселый, возвращаюсь из «Британии» домой, то и спать меня укладывает раб!.. Я уж тогда сознавал, насколько было бы лучше, чище, благороднее и целесообразнее, если б лампопо для меня приготавливали, сапоги мои чистили, помои мои выносили не рабы, а такие же свободные люди, как я сам. А многие ли в то время сознавали это?! Я даже написал одну повесть (я помню, она называлась «Маланьей»), в которой самыми негодующими красками изобразил безвыходное положение русского крепостного человека, и хотя, по тогдашнему строгому времени, цензура не пропустила этой повести, но я до сих пор не могу позабыть (многие даже называют меня за это злопамятным), что я автор ненапечатанной повести «Маланья». И когда Прокоп или кто-нибудь другой из «наших» начинают хвастаться передо мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подвигами, то я всегда очень деликатно даю почувствовать им, что теперь, когда все вообще хвастаются без труда, ничего не стоит, конечно, прикинуть два-три словечка себе в похвалу, но было время...

– Вот когда я свою "Маланью" писал, вот тогда бы попробовали вы похвастаться, господа!

⁸⁴ матери-кормилицы.

Так говорю я в упор хвастуну Прокопу, и этого напоминания совершенно достаточно, чтобы заставить его понизить тон. Ибо как он ни мало развит, но все-таки понимает, что написать "Маланью" в такое время, когда даже в альбомы девицам ничего другого не писали, кроме:

О Росс! о род непобедимый!
О твердокаменная грудь!

дело далеко не шуточное...

Тем не менее я должен сознаться, что, при всей моей ненависти к крепостному праву, сны у меня в то время были самые веселые. Либо едешь в гости, либо сидишь в гостях, либо из гостей едешь с сладкою надеждой, что в непродолжительном времени опять в гости ехать надо. Ничего огорчительного, ничего такого, что имело бы прямое отношение к "Маланье" или к бунтовским разговорам в "Британии". Я помню, что в "Маланье" я очень живо изобразил, как некоторый Силантий томится в темной вонючей конуре. И за что томится! за то только, что не хочет "с великим своим удовольствием" предоставить свою дочь Маланью любострастию помещика Пеночкина! Но во сне тот же самый Силантий представлялся мне уж совсем в ином виде: тут он не только не изнывает и не томится, но, напротив того, или песни поет, или бога за меня молит. "Добрый я, добрый!" – грезилось мне во сне, и на эту сладкую грезу не оказывал влияния даже тяжкий бред моего камердинера и раба Гришки, который в это самое время, разметавшись в соседней комнате на войлоке, изнемогал под игом иного рода сонной фантазии. Ему представлялся миллион сапогов, которые он обязывался вычистить, миллион печей, которые ему предстояло вытопить, миллион наполненных помоями лоханок, мимо которых он не мог пройти, чтобы не терзала его мысль, что он, а не кто другой, должен все это вынести, вылить, вычистить и опять поставить на место для дальнейшего наполнения помоями... С искаженным от ужаса лицом он вскакивал с одра своего, схватывал в руки кочергу и начинал мешать ею в холодной печке, а я между тем переворачивался на другой бок и продолжал себе потихоньку грезить: "Добрый я! добрый!"

Теперь все это изменилось, и сновидения мои приняли характер печальный, почти трагический. Правда, что я все еще продолжаю ездить в гости, но возвращаться вечером из гостей уж не совсем безопасно. Всегда как-то так случается, что едешь лесом, а уж коль скоро снится человеку лес, то непременно приснятся и волки. Они выбегают на дорогу, скалят зубы, стучат ими, прыгают около коляски, визжат, воют и, наконец, бросаются. Я чувствую, как железные когти вонзаются в мою грудь, я вижу разинутую розовую пасть, чувствую ее шумное дыхание – и просыпаюсь... Конечно, осмотревшись кругом, я успокоиваюсь и благодарю моего создателя за то, что я не в лесу, а у себя на мягкой постели. Но едва я успеваю перевернуться на другой бок, как опять сон. Я гуляю в своем парке (известно, как опасно помещику ходить одному в своем парке с тех пор, как нет крепостных садовников!), и вдруг из-за куста – волк! Опять железные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тлетворное песье дыхание...

Положим, что все эти страхи мнимые, но если уж они забрались в область сновидений, то ясно, что и в реальной жизни имеется какая-нибудь отравка. Если человеку жить хорошо, то как бы он ни притворялся, что жить ему худо, сны его будут веселые и легкие. Если жить человеку худо, то как бы он ни разыгрывал из себя удовлетворенную невинность – сны у него будут тяжелые и печальные. Нет сомнения, что в сороковых годах я написал "Маланью" и, следовательно, в некотором роде протестовал, но так как, говоря по совести, жить мне было отлично, то протесты мои шли своим чередом, а сны – своим. Теперь же, хотя я и говорю: ну, слава богу! свершились лучшие упования моей молодости! – но так как на душе у меня при этом скребет, то осуществившиеся упования моей юности идут своим чередом, а сны – своим. Скажу более: сны едва ли в этом случае не вернее выражают действительное настроение моей души, нежели протесты "осуществившиеся упования. Поэтому, когда я встречаю на улице человека, который

с лучезарною улыбкой на лице объявляет мне, что в пошехонском земстве совершился новый отрадный факт: крестьянин Семен Никифоров, увлеченный артельными сыроварнями, приобрел две новые коровы! мне как-то невольно приходит на мысль: мой друг! и Семен Никифоров, и артельные сыроварни – все это "осуществившиеся упования твоей юности"; а вот рассказал бы ты лучше, какие ты истории во сне видишь!

Печальные сны стали мне видеться с тех пор, как я был выбран членом нашего местного комитета по улучшению быта крестьян. В то время, как ни придешь, бывало, в заседание, так и сыплются на тебя со всех сторон самые трагические новости.

– Представьте себе! у соседа моего ребенка свинья съела! – говорит один член.

– Представьте себе! компаньонку моей жены волк искусал! – объясняет другой.

– А я вам доложу вот что-с, – присовокупляет третий, – с тех пор как эта эмансипация у нас завелась, жена моя нарочно по деревне гулять ходит – и что ж бы вы думали? ни одна шельма даже шапки не думает перед нею ломать!

И таким образом мы жили в чаду самых разнообразных страхов. С одной стороны – опасения, что детей наших переедят свиньи, с другой – грустное предвидение относительно неломания шапок... Возможно ли же, чтобы при такой перспективе мы, беззащитные, так сказать, временно лишенные покровительства законов, могли иметь какие-нибудь другие сны, кроме страшных!

Но этого мало. В одно прекрасное утро нам объявляют, что наш собственный председатель исчез неведомо куда, но "в сопровождении"... Признаюсь, это уж окончательно сразило меня! Господи боже мой! Что ж это будет, если уж начали пропадать председатели! И бог знает, чего-чего не припомнилось мне по этому случаю. И анекдот о помещике, которого, за продерзость, приказано было всю жизнь возить по большим дорогам, нигде не останавливаясь. И слышанный в детстве рассказ о младенце, которого проездом родители выронили из саней в снег, и только через сутки потом из-под снега вырыли. "И что ж бы вы думали! спит мой младенец самым, то есть, крепким сном, и как теперича его из-под снега вырыли, так он сейчас: "мама!" – Так оканчивала обыкновенно моя няня рассказ свой об этом происшествии.

В следующую за пропажей председателя ночь я видел свой первый страшный сон. Сначала мне представлялось, что нашего председателя возят со станции на станцию и, не выпуская из кибитки, командуют: лошадей! Потом, виделось, что его обронули в снег... "Любопытно бы знать, – думалось мне, – отроют ли его и скажет ли он: мама! как тот почтительный младенец, о котором некогда повествовала моя няня?"

И, таким образом, получив для страшных снов прочную реальную основу, я с горестью убеждаюсь, что прежние веселые сны не возвратятся ко мне, по малой мере, до тех пор, пока не возвратится порождавшее их крепостное право.

Но возвратится ли оно?

* * *

Итак, я видел сон.

Мне снилось, что я был когда-то откупщиком, нажил миллион и умираю одинокий в *chambres garnies*.

Около меня стоит Прокоп и с какою-то хищническою тревогой следит за последними, предсмертными искажениями моего лица. Он то на меня посмотрит, то бросит ядовитый взгляд на мою шкатулку. По временам он обращается ко мне с словами: "Ну, ну! не бойсь! бог не без милости!" Но я, с свойственною умирающим проницательностью, слышу в его словах нечто совсем другое. Мне чутся, что Прокоп говорит: уж как ты ни отпрашивайся, а от смерти не отвертишься! так умирай же, ради Христа, поскорее, не задерживай меня понапрасну! Одно

мгновение мне показалось, что на губах его мелькнула какая-то подлейшая улыбка, словно он уж заранее меня смаковал, – и ах! как не понравилась мне эта улыбка!

Наконец я испускаю последний вздох, но не успеваю еще окончательно потерять сознание, как вижу: шкатулка моя в одно мгновение ока отперта, и Прокоп торопливо, задыхаясь, вытаскивает из нее мои капиталы...

Я умер.

Читатель! не воображай, что я человек жадный до денег, что я думаю только о стяжании и что, поэтому, сребролюбивые мечтания даже во сне не дают мне покоя. Нет; я никогда не принадлежал к числу капиталистов, а тем менее откупщиков; никогда не задавался мыслью о стяжаниях и присовокуплениях, а, напротив того, с таким постоянным легкомыслием относился к вопросу "о производстве и накоплении богатств", что в настоящее время буквально проедаю последнее свое выкупное свидетельство. Я с гордостью могу сказать, что при составлении уставной грамоты пожертвовал крестьянам четыре десятины лугу по мокрому месту и все безнадежные недоимки простил. Когда я покончу с последним выкупным свидетельством, у меня останется в виду лишь несколько сот десятин худородной и отчасти болотистой земли при деревне Проплеванной,⁸⁵ да еще какие-то надежды... На что надежды – этого я и сам хорошенько не объясню, но что надежды никогда и ни в каком случае не оставят меня – это несомненно. Все сдается, что вот-вот совершится какое-то чудо и спасет меня. Например: у других ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведения по десятерной цене. Или еще: вдруг Волга изменит течение, повернет левой-левой, и прямо в мое имение! Деревню Проплеванную при этом, разумеется, разрушит до основания, а мои болота обратит в богатейшие заливные луга.

Но ежели не личная корысть дала основание моему сну, тем не менее основание это, до известной степени, все-таки не было чуждо реальности. Дело в том, что я много лет сряду безвыездно живу в провинции, а мы, провинциалы, обдeldываем свои денежные дела просто, а относимся к ним еще проще. Это совсем не то, что, например, в Петербурге, где ежели кто и ограбит умирающего родственника, то тотчас же начинает рассчитывать, сколько теперь у него шансов за получение бубнового туза на спину и сколько против такового получения. Мы грабим – не стыдясь, а ежели что-нибудь и огорчает нас в подобных финансовых операциях, то это только неудача. Удалась операция исполать тебе, добру молодцу! не удалась – разиня! – Достаточно посетить наши клубы в дни общих обедов, чтобы получить любопытнейшие по сему предмету сведения, особливо ежели соседи по бокам люди знающие и словоохотливые.

– Вот этого видите, вон того, черноволосого, что перед обедом так усердно богу молился, – он у своего собственного сына материнское имение оттягал! – скажет сосед с правой руки.

– Вот этого видите, вон того, что салфеткой брюхо себе застелил, – он родной тетке конфект из Москвы привез, а она, поевши их, через два часа богу душу отдала! – шепчет сосед с левой руки.

⁸⁵ Название «Проплеванной» – историческое. Однажды дедушка Матвей Иванович, будучи еще корнетом, ехал походом с своим однополчанином, тоже корнетом, Семеном Петровичем Сердюковым. Последний, надо сказать правду, был довольно-таки прост, и дедушка хорошо знал это обстоятельство. И так как походом делать было нечего, то хитрый старик, тогда еще, впрочем, полный надежд юноша, воспользовался простотой своего друга и предложил играть в плевки (игра, в которой дедушка поистине не знал себе победителя). Развязка не заставила долго ждать себя: малыми кушами Сердюков проиграл столь значительную сумму, что должен был предоставить в полную собственность дедушки свою деревню Сердюковку. Дедушка же, в память о финансовой операции, с помощью которой он эту Сердюковку приобрел, переименовал ее в «Проплеванную». Замечательно, что мужики долгое время сердились, когда их называли «проплеванными», а два раза даже затевали бунт. Но, благодарение богу, с помощью экзекуций, все улаживалось благополучно. Впрочем, с объявлением мужицкой воли, мужики опять переименовали деревню в Сердюковку, но я, в пику, продолжаю называть их «проплеванными». Я делаю это в ущерб самому себе, потому что в отмщение за мое название они ни за какие деньги не хотят ни косить мои луга, ни жать мой хлеб; но что же делать? Пусть лучше хлеб мой остается несжатым и луга нескошенными, но зато я всегда буду высоко держать мое знамя! (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– А вон того видите – вон, что рот-то разинул, – он, батюшка, перед самую эмансипацией всем мужикам вольные дал, да всех их к купцу на фабрику и закабалил. Сколько деньжищ от купца получил, да мужицкие дома продал, да скотину, а земля-то вся при нем осталась... Вот ты и смотри, что он рот разевает, а он операцию-то эту в лучшем виде устроил! – снова нашептывает сосед с правой руки.

И вдруг – о, удивление! – человек, застлавший брюхо салфеткой, шлет моему левому соседу стакан шампанского. Разумеется, обмен мыслей.

– Ивану Николаевичу! каково поживаете? каково прижимаете!

– Вы как!

– Вашими молитвами. После обеда пульку составить надо.

– Не вредно.

И действительно, тотчас же после обеда брюхан и мой левый сосед сидят уже за ералашем и дружелюбнейшим образом козыряют до глубокой ночи. И кто же знает? если за брюханом есть конфета, то не считается ли за моим левым соседом целого пирога?

Каким образом создалась эта круговая порука снисходительности – я объяснить не берусь, но что порука эта была некогда очень крепка – это подтвердит каждый провинциал. Однажды я был свидетелем оригинальнейшей сцены, в которой роль героя играл Прокоп. Он обличал (вовсе не думая, впрочем, ни о каких обличениях) друга своего, Анемподиста Пыркова, в присвоении не принадлежащего ему имущества.

– Ну, брат, уж нечего тут очки-то вставлять! – ораторствовал Прокоп, уж всякому ведь известно, как ты дядю-то мертвого под постель спрятал, а на место его другого в колпаке под одеяло положил! Чтобы свидетели, значит, под завещанием подписались, что покойник, дескать, в здравом уме и твердой памяти... Штукарь ведь ты!

– Ме... "финиссе..."⁸⁶ – умолял Пырков, простирая руки.

– Нечего "финиссе"... или уж по-французски заговорил! Уж что было, то было... Вон он и на кровати-то за покойника лежал! – вдруг указал Прокоп на добродушнейшего старичка, который, проходя мимо и увидев, что собралась порядочная кучка беседующих, остановился и с наивнейшим видом прислушивался к разговору.

– Пожалуйста, финиссе... прошу! – продолжал умолять Пырков.

– Чего финиссе! Вот выпить с тобой – я готов, да и то чтоб бутылка за семью печатями была! А других делов иметь не согласен! Потому, ты сейчас: либо конфект от Эйнема подаришь, либо пирогом с начинкой угостишь! Уж это верно!

И что ж? через какие-нибудь полчаса и Прокоп и Пырков сидели за одним столом и дружелюбнейшим образом чокались, что, впрочем, не мешало Прокопу, от времени до времени, язвить:

– А уж что ты тогда покойника под постель спрятал – это, брат, верно!

В другой раз, за обедом у одного из почетнейших лиц города, я услышал от соседа следующий наивный рассказ о двоеженстве нашего амфитриона.

– Служили они, знаете, в Польше-с... ну, молоды-с... полечки там, паненочки... сейчас руку и сердце-с. Вот только, женившись, и спохватились они, что дурно это сделали. Приданого за паненочкой – обтрепанный хвост-с, а родители у них престрогие-с. Вот и говорят они своей коханой-с: я, говорит, душенька, к старикам съезжу, а ты, говорит, после приедешь, как я подготовлю их. Сказано – сделано-с. Приезжают это в наши Палестины, а тем временем родители-то уж вдову для них приготовили. Двенадцать тысяч душ-с. Задумались-с. Однако, как увидели, что от ихней теперича решительности все будущее счастье в зависимости состоит, довольно-таки твердо выговорили: согласен-с. А потом, не говоря худого слова, веселым пирком да за свадьбу-с. Пошли тут пиры да банкеты; они было в Варшаву, для устройства слу-

⁸⁶ Но... прекратите...

жебных дел, – куда тебе! Наша вдовушка так во вкус вошла, что и слышать ничего не хочет-с! Только проходит три месяца, четыре-с, получают наш Петр Иванович из Варшавы письмо за письмом-с! А, наконец, и решительное-с. "Не знаю, говорит, что и подумать, коханный мой Петрусь (это она попольски его Петрусем называла), я же без тебя не могу жить, а потому и выезжаю завтрашнего числа к тебе". Ну-с, и в другое время неприятно, знаете, этакую конфету получить, а у них, кроме того, еще бал на другой день в подгородном имении на всю губернию назначен-с. Вот и открылись они Кузьме Тихонычу – вон они, с большими-то усами, по правую руку от них сидят, – так и так, говорят, устрой! И что же-с! на другой день идет это бал, кадрили, вальсы, все как следует, – вдруг входит Кузьма Тихоныч, подходит к хозяину и только, знаете, шепнул на ушко: алле! И представьте себе, никто даже не заметил, как они с Кузьмой Тихонычем в Незнамовку съездили (почтовая станция так называется, верстах в четырех от их имения), как там свое дело сделали и обратно оттуда приехали. И такой это приятный бал был, что долгое время вся губерния о нем говорила! А паненочки с тех пор и след простыл. Сказывали, будто в Незнамовке стакан воды выпила-с. Так вот, сударь, какие в старину люди-то жили! Этакое, можно сказать, особой важности дело сделалось, а они хоть бы вид подали!

.....

Таким образом, реальность моих сновидений не может подлежать сомнению. Если я сам лично и никого не обокрал, а тем менее лишил жизни, то, во всяком случае, имею полное основание сказать: я там был, мед-пиво пил, по усам текло... а черт его знает, может быть, и в рот попало!

Итак, продолжаю.

Я умер, но так как смерть моя произошла только во сне, то само собою разумеется, что я мог продолжать видеть и все то, что случилось после смерти моей.

Прокоп мигом очистил мою шкатулку. Там было пропасть всякого рода ценных бумаг на предъявителя, но он оставил только две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, да и то лишь для того, чтобы не могли сказать, что дворянина одной с ним губернии (очень он на этот счет щекотлив!) не на что было похоронить. Все остальное запихал он в свои карманы и даже за голенищи сапогов.

Потом Прокоп посетил мой чемодан, и так как нельзя было взять вещей очень громоздких, то украл (кажется, я вправе употребить это выражение?) два батистовых носовых платка. Затем он вскрыл мой дорожный несессер и украл оттуда чайную серебряную ложку.

Исполнив все это, Прокоп остановился посреди комнаты и некоторое время ослеплыми глазами озирался кругом, как бы нечто обдумывая. Но я – я совершенно ясно видел, что у него в голове уже зреет защитительная речь. "Я не украл, – говорил он себе, – я только устранил билеты из места их прежнего нахождения!" Очевидно, он уже заразился петербургским воздухом; он воровал без провинциальной непосредственности, а рассчитывая наперед, какие могут быть у него шансы для оправдания.

Затем он отер украденным платком лицо, позвал номерного... и заплакал!!

Это были до такой степени настоящие слезы, что мне сделалось жутко. Видя, как они текут по его лоснящимся щекам, я чувствовал, что умираю все больше и больше. Казалось, я погружаюсь в какую-то бездонную тьму, в которой не может быть речи ни об улике, ни об отпущении. Здесь не было достаточной устойчивости даже для того, чтобы задержать след какого бы то ни было действия. Забвение – и далее ничего...

Но я ошибался. Мой мститель или, лучше сказать, мститель моих законных наследников был налицо.

То был номерной Гаврило. Очевидно, он наблюдал в какую-нибудь щель и имел настолько верное понятие насчет ценности Прокоповых слез, что, когда Прокоп, всхлипывая и указывая на мое бездыханное тело, сказал: "Вот, брат Гаврилушко (прежде он никогда не

называл его иначе, как Гаврюшкой), единственный друг был на земле – и тот помер!" – то Гаврило до такой степени иронически взглянул на него, что Прокоп сразу все понял.

Тогда произошел между ними разговор, который неизгладимо напечатлелся в бессмертной душе моей.

– Видел?

– Смотрел-с.

– Однако, брат, ты шельма!

– По нашей части, сударь, без того нельзя-с.

– Вот тебе три серебра!

Прокоп протянул зеленую кредитку; но Гаврило стоял с заложенными за спину руками и не прикасался к подачке.

– Что ж не берешь?

– Как возможно-с!

– Рожна, что ли, тебе нужно? Ну, рассказывай!

– А вот как-с. Тысячу рублей деньгами, да из платья, да из белья – это чтобы сейчас. А впоследствии, по смерти моей, чтобы кормить-поить, жалованья десять рублей в месяц... вина ведро-с.

– Да ты очумел?

– Это как вам угодно-с. Угодно – сейчас можно людей скричать-с!

– Стой! мы вот как сделаем. Денег тебе сейчас – сто рублей...

– Никак невозможно-с.

– Да ты слушай! Денег сейчас тебе сто... ну, двести рублей. Да слушай же, братец, не торопись. Денег сейчас тебе... ну, триста рублей. Потом увезу я тебя к себе в деревню и сделаю над всеми моими имениями вроде как обер-мажордомом... понимаешь?

– А какое будет в деревне положение?

– Жалованья – пятнадцать рублей в месяц. Одежда, пища, вино – это само собой.

Гаврило, однако ж, мялся.

– Сумнительно, сударь, – наконец произнес он, – как бы после обиды от вас не было. Многие вот так-то обещают, а после, гляди, свидетелев-то на тот свет угодить нороят.

Но я уже видел, что колебания Гаврилы не могут быть продолжительны. Действительно, Прокоп набавил всего полтину в месяц – и торг был заключен. Тут же Прокоп вынул из кармана триста рублей, затем вытащил из чемодана две рубашки, все носовые платки, новый сюртук (я только что сделал его у Тедески) и вручил добычу Гаврюшке.

Никогда я так ясно не ощущал, что душа моя бессмертна, и в то же время никогда с такою определенностью не сознавал, до какой степени может быть беспомощною, бессильною моя бессмертная душа!

Я мог реять в эмпиреях, мог с быстротой молнии перелетать через громаднейшие пространства, мог все видеть, все слышать, мог страдать и негодовать, но не мог одного: не мог воспрепятствовать грабежу моих наследственных и благоприобретенных капиталов.

Через час в моем номере уже ходили взад и вперед какие-то неизвестные личности (из них только одна была мне знакома – это поручик Хватов), которые описывали, печатавали, составляли протоколы, одним словом, принимали так называемые охранительные меры. И никто из них не удивился, что в моей шкатулке оказалось всего-навсего две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги да старинная копеечка, которою когда-то благословила дедушку Матвея Иваныча какая-то нищенка. Никому не показалось странным, что у меня нет ни одного носового платка. Никому не пришло в голову поинтересоваться, отчего у Прокопа так безобразно оттопырились карманы пиджака. Пришли, понюхали – и ушли. Один Хватов на мгновение как бы удивился.

– Скажите на милость! – воскликнул он, обращаясь к Прокопу, – я ведь, признаться, воображал, что они миллионщики!

– Ну да, держи карман – миллионщики! В прежнее время – это точно: и из помещиков миллионщики бывали! а с тех пор как прошла над нами эта сипация всем нам одна цена: грош! Конечно, вот кабы дали на концессии разжиться – ну тогда слова нет; да и тут подлец Мерзавский надул!

– Тсс...

– Уж так были бедны! так бедны! – лгал, в свою очередь, и Гаврюшка, как только дотянули! Третьего дня подходят, это, ко мне: Гаврилушка, говорят, дай на два дня три целковых!

Издержки по погребению моего тела принял Прокоп на свой счет и, надо отдать ему справедливость, устроил похороны очень прилично. Прекраснейшие дроги, шесть попов, хор певчих и целый взвод факельщиков, а сзади громаднейший кортеж, в котором приняли участие все находящиеся в Петербурге налицо кадыки. На могиле моей один из кадыков начал говорить, что душа бессмертна, но зарыдал и не кончил. Видя это, отец протоиерей поспешил на выручку.

– Достоправный боярин! – произнес он, обращаясь к моему гробу, – не будем много глаголати, но скажем кратко. Что означает сие торжество? сие торжество прискорбное, ибо оно означает, что душа твоя оставила нас, друзей и присных твоих! но сие торжество и радостное, ибо отколе бежала душа твоя и куда воспарила! Она бежала от прогорькия сей юдоли и воспарила в высоты! Днесь вкушает она от трапезы благоуготованной и благоучрежденной! Вкушай же, душе! вкушай пищу благопотребную, вкушай вечно! Мы же, вспоминая о тебе, друже наш, да не постыдимся!

Эти слова были сигналом к, отъезду кортежа в ближайшую кухмистерскую, где Прокоп заказал погребальный обед. Ели: щи, приготовленные кухаркой Карнеевой, московских поросят с кашей, осетрину по-русски, жареную телятину и ледник (мороженое). И я имел удовольствие видеть, как во щи капали Прокоповы слезы и нимало не портили их.

По-настоящему на этом месте мне следовало проснуться. Умер, ограблен, погребен – чего ждать еще более? Но после продолжительного пьянственного бдения организм мой требовал не менее же продолжительного освежения сном, а потому сновидения следовали за сновидениями, не прерываясь. И при этом с замечательным упорством продолжали разрабатывать раз начатую тему ограбления.

Душа моя не могла долее выдерживать зрелища Прокоповой безнаказанности и воспарила. А однажды воспаривши, мой дух совершенно естественно очутился в господской усадьбе при деревне Проплеванной.

На этот раз, впрочем, сонная фантазия не представила мне никаких преувеличений. Перед умственным взором моим действительно стояла моя собственная усадьба, с потемневшими от дождя стенами, с составленными из кусочков стекла окнами, с проржавевшею крышей, с завалившеюся оранжереей, с занесенными снегом в саду дорожками, одним словом, со всеми признаками несомненной опальности, в которую ввергла ее так называемая "катастрофа".

Зимний вечер близится к концу; в окнах усадьбы там и сям мелькает свет. Я незримо пробираюсь в дом и застаю моих присных в гостиной. Тут и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лелечка. Они сидят с работой в руках и при трепетном свете сальной свечи рассуждают, что было бы, кабы, да как бы оно сделалось, если бы...

При жизни сестрицы меня ненавидели и в то же время любили. Как было им не ненавидеть меня! Я был богат, они – бедны! И чем быстрее я обогащался, тем быстрее росла моя холодность к ним. Сколько раз они умоляли меня (разумеется, каждая с глазу на глаз и по секрету от другой) позволить им "походить" за мной, а ежели не им, то вот хоть Фофочке или Лелечке. И я всякий раз с беспримерною в семейных летописях черствостью отказывался.

Мало того: я не просто отказывался, но и язвил при этом. Еще недавно, перед самым отъездом моим в последний раз в Петербург, Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко мне из Ветлуги и уговаривала довериться ей.

– Не ровен час, братец, – говорила она, – и занеможется вам, и другое что случится – все лучше, как родной человек подле! Принять, подать...

– Вот, сестра Марья тоже просится...

Я сказал это нарочно, ибо знал, что одно упоминание имени сестрицы Машеньки выведет сестрицу Дашеньку из себя. И действительно, Дарья Ивановна немедленно понеслась на всех парусах. Уж лучше первого встречного наемника, чем Марью Ивановну. Разбойник с большой дороги – и у того сердце мягче, добрее, нежнее у Марьи Ивановны. Марья Ивановна! да разве не ясно, как дважды два – четыре, что она способна насыпать яду, задушить подушками, зарубить топором!

– Разве примеры-то эти, братец, не бывали?!

Тем не менее я остался глух ко всем просьбам и предложениям и зато имел удовольствие видеть, какая глубокая ненависть блестела в глазах обеих сестриц, когда они прощались со мной, отправляясь обратно в Ветлугу.

Но в то же время они не могли и не любить меня. Кошка усматривает вдали кусок сала, и так как опыт прошлых дней доказывает, что этого куска ей не видать, как своих ушей, то она естественным образом начинает ненавидеть его. Но, увы! мотив этой ненависти фальшивый. Не сало она ненавидит, а судьбу, разлучающую ее с ним. Напрасно старается она забыть о сале, напрасно отворачивается от него, начинает замывать лапкой мордочку, ловить зубами блох и проч. Сало такая вещь, не любить которую невозможно. И вот она принимается любить его. Любить – и в то же время ненавидеть...

А разве я не был именно таким куском сала для моих сестриц?

Они до того любили меня, что ради меня даже друг друга возненавидели. Не существовало на свете той клеветы, того подозрения, о которых не было бы заявлено в наших интимных семейных беседах. И Фофочка и Лелечка – все переплелось, перепуталось в этой бесконечной сети любвей и ненавистей, которую нерукотворно сплела семейная связь. "И лег и встал", "походя ворует", "грабит", "добро из дому тащит" – таков был созданный временем семейный наш лексикон, и ежели этот бессмысленный винегрет всевозможных противоречий, уверток и оговорок мог казаться для постороннего человека забавным, то жить в нем, играть в нем деятельную роль – было просто нестерпимо.

– И что вы грызетесь! – говорил я им иногда под добрую руку, – каждой из вас по двугривенному дать – за глаза довольно, а вы вот думаете миллион после меня найти и добром поделить не хотите: все как бы одной захватить!

– Это не я, братец, это сестрица Даша! Это она завистлива; а мне что! Я и своим предовольна-довольна! – оправдывалась сестрица Марья Ивановна.

– Это не я, братец, это сестрица Маша! мне что! Это она завистлива, а я и своим предовольна-довольна! – в свою очередь, оправдывалась сестрица Дарья Ивановна.

И таким образом, в взаимных поклепах шло время, покуда мои миллионы не очутились в руках Прокопа.

Итак, сестрицы сидели в гостиной усадьбы Проплеванной и толковали. Взаимное горе соединило их, но поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живее. Для каждой каждая представлялась единственной причиной обманутых надежд и случившегося разорения. Если бы не Машенькины интриги – братец наверное отказал бы свой миллион Дашеньке, и наоборот. Хотя же усадьба Проплеванная и принадлежала им несомненно, но большого утешения в этом они не видели. Во-первых, трудно поделить землю: кому отдать просто хорошею землю, кому – болота и пески? Во-вторых, дом: неминуемое дело продать его за бесценок на своз. Отдать Машеньке – будет протестовать Дашенька; отдать Дашеньке – будет протестовать

Машенька. Кончится тем, что придется выписать из Петербурга адвоката, который и присудит себе Проплеванную за труды. Следовательно, в будущем виделись только ссоры, утучнение адвоката и бесконечное, безвыходное галдение. И куда делся этот миллион! Вот кабы он был налицо, так тогда, точно, поделить было бы не трудно! Вот вам, Марья Ивановна, пятьсот тысяч, а вот вам, Дарья Ивановна, пятьсот тысяч. Это была такая светлая, такая лучезарная возможность, что на ней сестрицы позабывали даже о взаимной вражде своей.

– Сам! сам перед отъездом в Петербург говорил: миллиона, говорит, добром поделить не хотите! – восклицает сестрица Марья Ивановна и от волнения даже вскакивает с места и грозит куда-то в пространство кулаком.

– Сама собственными ушами слышала, как говорил: миллиона, говорит, добром поделить не хотите! – вторит с невольным увлечением сестрица Дарья Ивановна.

Фофочка, Лелечка, Нисочка, Аннинька пожимают плечиками и, шепелявя на институтский манер, произносят:

– Это ужасно! Это уж бог знает что!

– И куда этот миллион девался!

– Точно в прорву какую этот миллион провалился!

– То есть руку на отсечение отдаю, что Прокопка-мерзавец его украл!

– Он, он, он! Кому другому украсть, как не ему, мерзавцу!

– Сказывают, наш-то пьяница так и не расставался с ним в последнее время! Куда наш пропоец идет – глядишь, и подлец за ним следом!

– А я так слышала: еще где до свету, добрые люди от заутрени возвращаются, а они уж в трактир пьянствовать бегут! Вот и допьянствовался, голубчик!

– У нашего-то, говорят, даже глаза напоследок от пьянства остановились!

– Как не остановиться! с утра до вечера водку жрал! Тут хоть железный будь, а глаза выпучишь!

Я слушаю эти разговоры, и мне делается так жаль, так жаль моих бедных сестриц! Правда, что они не совсем-то вежливо обо мне отзываются, но ведь и я с ними поступил... ах, как я поступил! Шутка сказать – миллион! Чье сердце не содрогнется при этом слове! И как удачно этот Прокоп дело обделал! Ни малейшего усложнения! Ни взлома, ни словоохотливой любовницы, ни даже глупой родственницы, которая иначе не помирилась бы, как на подложном завещании, и потом стала бы этим завещанием его же, Прокопа, всю жизнь шпиговать! Ничего! Взял, украл – и был таков!

Но часы бьют одиннадцать, и сестрицы расходятся по углам. Тем не менее сон долгое время не смежает их глаз; как тени, бродят они, каждая в своем углу, и все мечтают, все мечтают.

– Уж кабы я на месте Прокопки-подлеца была, – мечтает сестрица Марья Ивановна, – уж, кажется, так бы... так бы! Ну, вот ни с эстолько этой Дашке-паскуде не оставила бы!

Сестрица отмеривает на мизинце самую крохотную частицу и как-то так загадочно улыбается, что нельзя даже определить, что в этой улыбке играет главную роль: блаженство или злорадство.

– Уж кабы я на месте подлеца Прокопки была, – с своей стороны, мечтает сестрица Дарья Ивановна, – уж, кажется, так бы... так бы! Ну, вот ни с эстолько эта Машка-паскуда от меня бы не увидела!

И тоже отмеривает крохотную частицу на мизинце, и тоже улыбается загадочною блаженно-злорадною улыбкой...

Минутное сожаление, которое я только что почувствовал было к сестрицам, сменяется негодованием. Мне думается: если несомненно, что украла бы Маша, украла бы Даша, то почему же нельзя было украсть Прокопу? Разве кража, совершенная "кровными", имеет какой-нибудь особенный вкус против кражи, совершенной посторонними?

И в уме моем невольно возникает вопрос: что могло бы случиться, если б мой миллион был устранен из своего первоначального помещения не Прокопом, а, например, сестрицей Машей?

Во-первых, для меня или, лучше сказать, для моего тела – последствия были бы самые скверные.

Хотя я и знаю, что Прокоп проедает свое последнее выкупное свидетельство, но покада он еще не проел его, он сохраняет все внешние признаки человека достаточного, живущего в свое удовольствие. Следовательно, обокравши меня, он, по крайней мере, имел полную возможность дать полный простор чувству благодарности, наполнявшему его сердце. Он мог нанять прекраснейшие дроги для моего гроба, мог устроить для меня погребение с шестью попами и обедом у кухмистра. И если б выискался вольнодумец, который сказал: вот как свободно может человек распоряжаться награбленными деньгами! – Прокоп мог бы, в виде опровержения, вынуть из кармана свое собственное выкупное свидетельство и сунуть его вольнодумцу под нос: вот оно!

Напротив того, ограбь меня сестрица Маша – о великолепии, сопровождавшем мое погребение, не могло бы быть и помину. Будучи состояния бедного и погребая брата, оставившего после себя только старинную копеечку да две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, она, для того только, чтобы не обличить саму себя, обязывалась бы продолжать притворяться нищей и сократить расходы по погребению до последней крайности. Прощай попы, прощай факельщики, прощай великолепный кортеж кадыков! Кто знает, не было ли бы мое тело в таком случае погребено где-нибудь на острове Голодае? И имела ли бы тогда возможность душа моя парить, негодовать, ликовать и вообще испытывать всякого рода ощущения, как она делает это теперь, когда тело мое, по милости Прокопа, погребено в 1-м классе Волковского кладбища?

Стало быть, с точки зрения моего тела, еще бабушка надвое сказала, выгоднее ли было бы, если б меня обокрала сестрица Маша, а не Прокоп.

Во-вторых, для моего капитала – последствия были бы едва ли менее невыгодны. Обладая своим собственным выкупным свидетельством, Прокоп, под его эгидой, имеет полную возможность пустить в ход мои деньги. Он может и у Бореля кредит себе открыть, и около Шнейдерши походить, а пожалуй, чего доброго, и концессию получить. И никто не имеет юридического основания сказать: вот как человек на награбленные деньги кутит! А так как я и сам при жизни любил, чтоб мой капитал имел обращение постоянное и быстрое, тс душа моя может только радоваться, что в руках Прокопа он не прекращает своего течения, не делается мертвым.

Напротив того, сестрица Маша прежде всего вынуждена была бы скрыть мои таланты от всех взоров, потому что всякому слишком хорошо известно, что собственно у нее нет даже медного гроша за душой. Но скрыть – этого еще недостаточно. Она обязывалась даже теперешние свои расходы сократить до невозможности, потому что подозрительные глаза сестрицы Даши, с бдительностью аргуса, следили бы за каждым ее шагом. Купила Маша фунт икры сейчас Даша: а Машка-воровка нынче уж икру походя ест! Сшила Маша Нисочке ситцевое платьице – сейчас Даша: а видели вы, как воровка-то наша принцессу свою вырядила?! Чем могло бы кончиться это ужасное преследование? А вот чем: в одно прекрасное утро, убедаясь, что украденный капитал принес ей только терзания, Маша с отчаянья бросила бы его в отхожее место... Каково было бы смотреть на это душе моей!

Стало быть, как ни кинь, а выходит, что даже лучше, что меня обокрал Прокоп, а не сестрицы.

Но в ту минуту, когда я пришел к этому заключению, должно быть, я вновь, – перевернулся на другой бок, потому что сонная моя фантазия вдруг оставила родные сени и перенесла меня, по малой мере, верст за пятьсот от деревни Проплеванной.

Я очутился в усадьбе Прокопа. Он сидел у себя в кабинете; перед ним, в позе более нежной развязной, стоял Гаврюшка.

Прокоп постарел, поседел и осунулся. Он глядел исподлюбья, но когда, по временам, вскидывал глаза, то от них исходил какой-то хищный, фальшивый блеск. Что-то среднее между "убью!" и "боюсь!" – виделось в этих глазах.

Очевидно было, что устранение моих денег из первоначального их помещения не прошло ему даром и что в его жизнь проникло новое начало, дотоле совершенно ей чуждое. Это начало – всегдашнее, никогда не оставляющее, человека, совершившего рискованное предприятие по присвоению чужой собственности, опасение, что вот-вот сейчас все кончится, соединенное с чувством унижительнейшей зависимости вот от этого самого Гаврюшки, который в эту минуту в такой нахальной позе стоял перед ним.

И действительно, стоило лишь взглянуть на Гаврюшку, чтоб понять всю горечь Прокопова существования. Правда, Гаврюшка еще не сидел, а стоял перед Прокопом, но по отставленной вперед ноге, по развязно заложенным между петлями сюртука пальцам руки, по осовелым глазам, которыми он с наглейшею самоуверенностью озирался кругом, можно было догадываться, что вот-вот он сейчас возьмет да и сядет.

– На что ж это теперича похоже-с! – докладывал Гаврюшка, – я ему говорю: предоставь мне Аннушку, а он, вместо того чтоб угождение сделать...

– Да пойми ты, ради Христа! разве могу я его заставить? такие ли теперь порядки у нас? Вот кабы лет пятнадцать долой – ну, тогда точно! Разве жалко мне Аннушки-то?

– Это как вам угодно-с. И прежде вы барины были, и теперь барины состоите... А только доложу вам, что ежели, паче чаянья, и дальше у нас так пойдет – большие у нас будут с вами нелады!

– Да опомнись ты! чего тебе от меня еще нужно! Сколько ты денег высосал! сколько винища одного вылакал! На-тко с чем еще пристал: Аннушку ему предоставь! Ну, ты умный человек! ну, скажи же ты мне, как я могу его принудить уступить тебе Аннушку? Умный ли ты человек или нет?

– Опять-таки, это как вам угодно. А я, с своей стороны, полагаю так: вместе похищение сделали – вместе, значит, и отвечать будем.

– Вот видишь ли, как ты со мной говоришь! Ну, как ты со мной говоришь! Кабы ежели ты настоящий человек был – ну, смел ли бы ты со мной так говорить! Где у тебя рука?

– Где же рука-с! при мне-с!

– То-то вот "при мне-с"! Разве так отвечают? Разве смел бы ты мне таким родом ответить, кабы ты человек был! "При мне-с"! А я вот тебе, свинье, снисхожу! Зачем снисхожу? Оказал ты мне услугу – я помню это и снисхожу! Вот и ты, кабы ты был человек, а не свинья, тоже бы понимал!

– А я, напротив того, так понимаю, что с моей стороны к вам снисхождений не в пример больше было. И коли ежели из нас кто свинья, так скорее всего вы против меня свиньей себя показали!

Я ожидал, что Прокоп раздерет на себе ризы и, во всяком случае, хоть одну: скулу, да своротит Гаврюшке на сторону. Но он только зарычал, и притом так деликатно, что лишь бессмертная душа моя могла слышать это рычание.

– Для тебя ли, подлец, мало делается! – говорил он, делая невероятные усилия, чтоб сообщить своему голосу возможно мягкие тоны, – мало ли тебе в прорву-то пихали! Вспомни... искарיות ты этакий! Заставил ли я тебя, каналья ты эдакая, когда-нибудь хоть пальцем об палец ударить? И за что только тиранишь ты меня, бесчувственный ты скот?

– Это как вам угодно-с. Только я так полагаю, что, ежели мы вместе похищение делали, так вместе, значит, следует нам и линию эту вести. А то какой же мне теперича, значит, расчет!

Вот вы, сударь, на диване теперича сидите – а я стою-с! Или опять: вы за столом кушаете, а я, как какой-нибудь холоп, – в застольной-с... На что похоже!

И Гаврюшка до того забылся, что начал даже кричать.

А так как он с утра был пьян (очевидно, с самого дня моего погребения он ни одной минуты не был трезв), то к крику присоединились слезы.

Прокоп некоторое время смотрел на него с выпученными глазами, но наконец-таки обнял всю необъятность Гаврюшкиных претензий и не выдержал, то есть с поднятыми дланями устремился к негодяю.

– Вон... курицын сын! – гремел он, не помня себя.

– Это как вам угодно-с. Только какое вы слово теперича мне сказали... ах, какое это слово! Ну, да и ответите же вы передо мной за это ваше слово!

Гаврюшка с шиком повернулся на каблуках и не торопясь вышел из кабинета. А Прокоп продолжал стоять на месте, ошеломленный и уничтоженный. Наконец он, однако ж, очнулся и быстро зашагал по комнате.

– Каждый день так! каждый день! – слышалось мне его невнятное бормотание.

Прокоп был несчастлив. Он украл миллион и не только не получил от того утешения, но убедился самым наглядным образом, что совершил кражу исключительно в пользу Гаврюшки. Он не мог ни одной копейки из этого капитала употребить производительно, потому что Гаврюшка был всегда тут и, при первой попытке Прокопа что-нибудь приобрести, замечал: а ведь мы вместе деньги-то воровали. Стало быть, положение Прокопа было приблизительно такое же, как и то, которое душа моя рисовала для сестрицы Марьи Ивановны, если б не Прокоп, а она украла мои деньги. Везде и всегда Гаврюшка! Он болтал без умолку, и если еще не выболтал тайны во всем ее составе, то о многом уже дал подозревать. Самое присутствие Гаврюшки в имении, льготы, которыми он пользовался, нахальное его поведение – все это уже представляло богатую пищу для догадок. Дворовые уже шепчутся между собою, а шепот этих людей – первый знак, что нечто должно случиться. Прокоп видел это, и у него готова была лопнуть голова при мысли, что из его положения только два выхода: или самоубийство, или...

И Прокоп все шагал и шагал, как будто усиливаясь прогнать ехидную мысль.

– И кто же бы на моем месте не сделал этого! – бормотал он, – кто бы свое упустил! Хоть бы эта самая Машка или Дашка – ну, разве они не воспользовались бы? А ведь они, по настоящему-то, даже и сказать не могут, зачем им деньги нужны! Вот мне, например... ну, я... что бы, например... ну, пятьдесят бы стипендий пожертвовал... Театр там "Буфф", что ли... тьфу! А им на что? Так, жадность одна!

Но ехидная мысль: или самоубийство, или..., раз забравшись в голову, наступает все больше и больше. Напрасно он хочет освободиться от нее при помощи рассуждений о том, какое можно бы сделать полезное употребление из украденного капитала: она тут, она жжет и преследует его.

– Позвать Андрея! – наконец кричит он в переднюю.

Андрей – старый дядька Прокопа, в настоящее время исправляющий у него должность мажордома. Это старик добрейший, неспособный муху обидеть, но за всем тем Прокоп очень хорошо знает, что ради его и его интересов Андрей готов даже на злодеяние.

– Надо нам от этого Гаврюшки освободиться! – обращается Прокоп к старому дядьке.

– И что за причина такая! – вздыхает на это Андрей.

– Ну, брат, причина там или не причина, а надо нам от него освободиться!

– В шею бы его, сударь!

– Кабы можно было в шею, разве стал бы я с тобой, дураком, разговаривать!

Наступает несколько минут молчания. Прокоп ходит по кабинету и постепенно все больше и больше волнуется. Андрей вздыхает.

– Надо его вот так! – наконец произносит Прокоп, делая правой рукой жест, как будто прищелкивает большим пальцем блоху.

– Да ведь и то, сударь, с утра до вечера винище трескает, а все лопнуть не может! – объясняет Андрей и, по обыкновению своему, прибавляет: – И что за причина такая – понять нельзя!

Опять молчание.

– Дурману бы... – произносит Прокоп, и какими-то такими бесстрастными глазами смотрит на Андрея, что мне становится страшно.

Я вижу, что преступление, совершенное в минуту моей смерти, не должно остаться бесследным. Теперь уже идет дело о другом, более тяжелом преступлении, и кто знает, быть может, недолго этот самый Андрей... Не потребуется ли устранить и его, как свидетеля и участника совершенных злодеяний? А там Кузьму, Ивана, Петра? Душа моя с негодованием отвращается от этого зрелища и спешит оставить кабинет Прокопа, чтобы направить полет свой в людскую.

Там идет говор и гомон. Дворовые хлеблют щи; Гаврюшка, совсем уже пьяный, сидит между ними и безобразничает.

– Мне бы, по-настоящему, совсем не с вами, свиньями, сидеть надо! говорит он.

– Что говорить! И то тебя барин уже за стол с собой посадит! поддразнивает его кто-то из дворовых.

– А то не посадит! Посадит, коли прикажу! Барин! велик твой барин! Он барин, а я против него слово имею – вот что!

– Какое же такое слово, Гаврилушка? И что такое ты против барина можешь, коли он тебя сию минуту и всячески наказать, и даже в Сибирь сослать может?

– А такое слово... вор!!

Речь эта несколько озадачивает дворовых, но так как крепостное право уж уничтожено, то смущение, произведенное словом "вор", проходит довольно быстро. К Гаврюшке начинают приставать, требовать объяснений. Дальше, дальше...

И вот, в тот самый вечер, камердинер Семен, получивши от Прокопа затрещину за то, что, снимая с него на ночь сапоги, нечаянно тронул баринову мозоль, не только не стерпел, по обыкновению, нанесенного ему оскорбления, но прямо так-таки и выпалил Прокопу в лицо:

– От вора да еще плюхи получать – это уж не порядки! При такой неожиданной апострофе Прокоп до того растерялся, что даже не нашелся сказать слова в ответ.

Вся его жизнь прошла перед ним в эту ночь. Вспомнилось и детство, и служба в гусарском полку, и сватовство, и рождение первого ребенка... Но все это проходило перед его умственным взором как-то смутно, как бы для того только, чтобы составить горький контраст тому безвыходному положению, ужас которого он в настоящую минуту испытывал на себе. Одна только мысль была совершенно ясна: зачем я это сделал? но и она была до того очевидно бесплодна, что останавливаться на ней значило только бесполезно мучить себя. Но бывают в жизни минуты, когда только такие мысли и преследуют, которые имеют привилегию вгонять человека в пот. Другая мысль, составлявшая неизбежное продолжение первой: вот сейчас... сейчас, сию минуту... вот! была до того мучительна, что Прокоп стремительно вскакивал с постели и начинал бродить взад и вперед по спальней.

– Всех! – бормотал он, – всех!

Однако ж нелепость этой угрозы была до того очевидна, что он едва успевал вымолвить ее, как тут же начинал скрипеть зубами и с каким-то бессильным отчаянием сучить руками.

– Всем! – продолжал он, вдруг изменяя направление своих мыслей, – всем с завтрашнего же дня двойное жалованье положу! А уж Гаврюшку-подлеца изведу! Изведу я тебя, мерзкий ты, неблагодарный ты человек!

Прокоп шагал и скрипел зубами. Он злобствовал тем более, что его же собственная мысль доказывала ему всю непрактичность его предположений. "Разве Гаврюшка один! – подсказы-

вала эта мысль. – Нет, он был один только до тех пор, пока немотствовали его уста. Теперь, куда ни оглянись, – везде Гаврюшки! Сегодня их двадцать; завтра – будет сто, тысяча. Да опять и то: за что им платить? за что? Разве они что-нибудь заслужили? Разве они видели, помогли, скрыли? Ну, Гаврюшка... это так! Он видел, и все такое... Он был вправе требовать, чтоб ему платили! А то, на-тко сбоку припеку, нашлась целая орава охотников – и всем плати!"

– Да будь я анафема проклят, если хоть копейку вы от меня увидите... м-м-мерзавцы! – задыхается Прокоп.

И он шагает, шагает без сна до тех пор, пока розоперстая аврора не освещает спальни лучами своими.

Утром он узнает, что Гаврюшка исчез неизвестно куда...

А сестрица Марья Ивановна уж успела тем временем кой-что прониюхать, и вот, в одно прекрасное утро, Прокопу докладывают, что из города приехал к нему в усадьбу адвокат.

Адвокат – молодой человек самой изящной наружности. Он одет в щегольскую коротенькую визитку; волосы аккуратно расчесаны *a la Jesus*;⁸⁷ лицо чистое, белое, слегка лоснящееся; от каждой части тела пахнет особыми, той части присвоенными, духами. Улыбка очаровательная; жест мягкий, изысканный; произношение такое, что вот так и слышится: а хочешь, сейчас по-французски заговорю! Прокоп в первую минуту думает, что это жених, приехавший свататься к старшей его дочери.

– Я приехал к вам, – начинает адвокат, – по одному делу, которое для меня самого крайне прискорбно. Но... *vous savez*...⁸⁸ вы знаете... наше ремесло... впрочем, *au fond*,⁸⁹ что же в этом ремесле постыдного?

Сердце Прокопа болезненно сжимается, но он перемогает себя и прерывает речь своего собеседника вопросом:

– Позвольте... в чем дело-с!

– Итак, приступим к делу. В сущности, это безделица – *une misere*! И ежели вы будете настолько любезны, чтоб пойти на некоторые уступочки, то безделица эта уладится сама собой... *et ma foi! il n'en sera plus question*!⁹⁰ Итак, приступим. Несколько времени назад, в *chambres garnies*, содержимых некоторою ревельскою гражданкою Либкнехт, умер один господин, которого молва называла миллионером. Я вам сознаюсь по совести: существование этих миллионов еще не доказано, но в то же время, *entre nous soit dit*,⁹¹ оно может быть доказано, и доказано без труда. Итак, в видах упрощения наших переговоров, допустим, что это уж дело доказанное, что миллионы были, что, во всяком случае, они могли быть, что, наконец...

– Позвольте-с... умер... миллионы... Не понимаю, при чем лее тут я? все еще храбрится Прокоп.

– Я понимаю, что вам понять не легко, но, в то же время, надеюсь, что если вы будете так добры подарить мне несколько минут внимания, то дело, о котором идет речь, для вас самих будет ясно, как день. Итак, продолжаю. В номерах некоей Либкнехт умер некоторый миллионер, при котором, в минуту смерти, не было ни родных, ни знакомых – словом, никого из тех близких и дорогих сердцу людей, присутствие которых облегчает человеку переход в лучшую жизнь. Здесь был только один человек, и этот-то один человек, который называл себя другом умиравшего, и закрыл ему глаза...

– Прекрасно-с! это прекрасно-с! Называл себя другом! закрыл глаза! Скажите, какое важное преступление! – все еще бодрил себя Прокоп.

⁸⁷ как у Христа.

⁸⁸ вы знаете...

⁸⁹ в сущности.

⁹⁰ и, право же, об этом не будет больше речи!

⁹¹ между нами говоря.

– Покуда преступления, действительно, еще нет. Закрывать глаза другу это даже похвально. Да и вообще я должен предупредить вас, что я и в дальнейших действиях этого друга не вижу ничего такого... одним словом, непохвального. Я не ригорист, *Dieu merci*.⁹² Я понимаю, что только богу приличествует судить тайные побуждения человеческого сердца, сам же лично смотрю на человеческие действия лишь с точки зрения наносимых ими потерь и ущербов. Конечно, быть может, на суде, когда наступит приличная обстоятельствам минута – я от всего сердца желаю, чтобы эта минута не наступила никогда! – я тоже буду вынужден квалифицировать известные действия известного «друга» присвоенным им в законе именем; но теперь, когда мы говорим с вами, как порядочный человек с порядочным человеком, когда мы находимся в такой обстановке, в которой ничто не говорит о преступлении, когда, наконец, надежда на соглашение еще не покинула меня...

⁹² благодарение богу,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.